

Анатолий
РЯСОВ

Прелюдия.
Ното innatus



Москва
2007

предуведомление

Нарисовав крик, я взял холст и вышел на витрину. Это оказалось единственным шансом донести образ до незнакомых прохожих. Покрытая пылью витрина была просторна и пуста, человек с холстом в руках должен был привлечь внимание. Но шел дождь, и по стеклу стекали разветвленные струи, сквозь которые нелегко было что-либо разглядеть. Кроме того, большинство людей вообще не смотрели в мою сторону, лишь изредка некоторые из них останавливались, чтобы взглянуть на свое отражение в стекле или поправить шляпу, и тогда они могли мельком заметить меня и холст, который я держал в руках. Как правило, на полотно обращали внимание единицы – не более одного человека в неделю. На несколько секунд задержав взгляд на картине, они равнодушно отводили глаза в другую сторону. А дождь между тем не прекращался, даже наоборот: казалось, с каждым днем водопад капель наслаивал всё новые блеклые пласты на стекло. Серые кольца переливались друг в друга, заплетая самые причудливые узоры. Улица становилась почти не похожа на себя, изображение размывалось так, словно я смотрел на мир глазами засыпающего пьяницы. Не сомневаюсь, что снаружи видимость была ничуть не лучше. Скорее всего, замечен был в лучшем случае размытый силуэт, искаженное очертание, не более... Мало кто мог разглядеть, что именно я держу в руках, и уж точно практически никто не разобрал бы, что изображено на картине. Тем более при такой спешке: фигуры прохожих буквально мелькали за мокрым стеклом. А как-то раз утром водяные разводы превратились в изморозь, в лед – на улице сильно похолодало. Стекло полностью потеряло свой смысл, теперь оно ничем не отличалось от стены, разве что самую малость: какие-то мелькания теней всё же оставались различимы. Но могу поклясться, что с улицы невозможно было разглядеть ничего. Бело-голубой орнамент плотной завесой скрывал мой крик от прохожих. Картина оказалась недосыгаема для взглядов. Я провел на витрине около месяца в надежде на потепление, но холод

лишь уплотнял ледяную корку на стекле. Только однажды произошло чудо, я даже не поверил своим глазам: в углу снежной занавески образовался просвет, за которым оказалась детская ладошка. В протертое отверстие с интересом заглядывала маленькая девочка. Теплыми руками она растапливала сантиметр за сантиметром. Я попытался улыбнуться ей, но у меня почему-то ничего не вышло. Губы лишь слегка подернулись нервной судорогой. Однако я был невероятно рад, тем более что больше месяца не видел ни одного живого существа. Девочка заметила холст и стала внимательно разглядывать изображение, она оказалась первым человеком, кто понял, зачем я стоял на витрине всё это время. И в этот самый момент кто-то – вероятно, ее отец – схватил девочку за руку и повел на другую сторону улицы. Она несколько раз обернулась и скрылась из виду. Холст выпал из моих замерзших рук. Картина упала на пыльный пол. Я попытался поднять ее, но вдруг осознал, что не могу пошевелить даже пальцем руки. Я абсолютно разучился двигаться. За эти месяцы я успел превратиться в манекена*.

* На протяжении всего текста слово *манекен* склоняется как одушевленное существительное.

гlossарий

Витрина – сценическое пространство, уготованное *спектаклем* для *художника*.

Война – социальное состояние, спровоцированное *спектаклем*.

Выплюнутость – ощущение, которое постоянно испытывает *пассажир*.

Декорации – мертвые предметы в пространстве *витрины*.

Другие (переосмысленный термин Ж. П. Сартра) – *прохожие* и *манекены*.

Игра (переосмысленный термин Ф. Шиллера) – противостояние *сценарию*, бунт против законов *спектакля*, способ достичь *присутствия*.

Капли – человеческие жизни.

Крик (переосмысленный термин А. Арто) – поиск *игры*.

Манекен – актер, запертый в рамках стеклянного пространства *витрины*.

Оболочка – смугло-серая масса, состоящая из пепла и леденеющего снега; защитный панцирь, позволяющий выживать в мире *спектакля*.

Пассажир (переосмысленный термин Ф. Кафки) – существо, пребывающее в состоянии *прелюдии*. Он не является ни *манекеном*, ни *прохожим*.

Плацента – искусственная форма, в которую заключен *пассажир*.

Подлинность – всё, что находится по ту сторону *спектакля*.

Прелюдия – душевное состояние *пассажира*, пытающегося постичь *присутствие*.

Присутствие (переосмысленный термин М. Хайдеггера) – обретение *подлинности*, освобождение от власти *сценария*, оно возможно только через уничтожение *спектакля*.

Прохожий – безразличный зритель, коррелят *манекена* в системе координат, созданной *спектаклем*.

Скорлупа и тесто – материал для изготовления *плаценты*.

Слезы (переосмысленный термин С. Беккета) – спутницы *пассажира*. Внешние проявления *прелюдии*.

Спектакль (термин, заимствованный у Г. Дебора) – мир ложного, повседневного, мертвого. *Спектакль* включает в себя и *витрину*, и *улицу*.

Сценарий – ход событий, предопределенный *спектаклем*.

Улица – зрительный зал, место обитания *прохожих*. Она находится по ту сторону *витрины*.

Художник (термин, заимствованный у Дж. Джойса) – основная ипостась *пассажира*.

пролог

*Гул ветра. Крики гиббонов. Фигуры в черных робах.
Тусклое пламя свечи. Муэдзин нараспев читает фатиху.*

Низкий голос: Когда он начнет, он начнет когда, когда начнет он, когда он начнет говорить, я знаю, я точно знаю, когда он начнет, **ОНИ БРОСЯТ**, когда он начнет, они всё бросят, когда он начнет, и они станут, станут слушать.

Декламирующий голос: Когда он начнет ночь, он точно начнет ночью, но чью ночью начнет? Он начнет ноччччччччч...

Дикий крик во второй октаве.

Голос из мегафона (дергающийся и напоминающий скороговорку): Когда он начнет бррллла, когда он начнет, когда он начнет говорить, я знаю, они бросят, когда он начнет, они станут слушать, когда он начнет, я точно знаю, я, когда он начнет, они чувствовать себя будут, в общем, когда он начнет, когда он ночь, когда он, он, он, но айгд мигначнерт миндосройчен доргес ноудувайдес невецруш зиа! ношурц ноа минносройч гагатес ыншнот майкнойтс синнуадеган НО!.. НО! а я, они, когда он начнет, они чувствовать себя будут, когда он начнет, они чувствовать себя будут, ноунувайдес невецруш, они, они себя чувствовать будут, чувствовать будут себя... В ОБЩЕМ, ИМ ВСЕМ СТАНЕТ ПЛОХО.

I скорлупа изнутри



Стук сердца.

Новый приказ
желтым плевком
об
во
ла
ки
ва
ет

Тонкую ветвь
изнемоглого, волглого
РАЗУМА.
разума.

Из оконного проема высовываются руки, держащие ткань голубого цвета. На фоне неба она развеивается на ветру и затем падает прямо на объектив кинокамеры.

*Мелькающие изображения
домов, мостов, тоннелей,
коридоров, проходных
дворов, проводов, перилл,
полумесяцев, зонтов, чело-
веческих фигур, глаз.*

Разорванные капли
распластались по стеклу,
они стучат в окно,
считают, волнуются, ждут,
но они не умеют считать
больше, чем до одного.
Они не умеют считать
больше, чем до одного...

*Кадры с тканью повторяются, но уже в черно-белых тонах.
Оперный вокал.*

Детский голос: Раз, раз, разбуди меня,
Раз, раз, разбуди меня,
Раз, раз, разбуди меня,
Раз, раз, разбуди меня,

Разбуди меня,
Разбуди меня.

когда Я УМРУ.

Женский голос: А 343 – шестой, заводской гудок.

Заводской гудок. Голый ребенок на камнях, свернувшийся в позе эмбриона. Безногого человека везут в инвалидной коляске по узкому проходу.

Шепот (многократно повторяющийся):

Медленно мимо бурых стен,
Источая прогорклый страх,
Ползти вдоль по коридору к Тем.
Кровавой пеной, лавой глена
пестовать свой прах.

Декламирующий голос (поверх шепота): По осклизлым стенам затхлого заброшенного колодца слизняками сползает вязкая желтая слюна. Слюна луны. Сердце кровавится в груди ослабленной души. Раскаты крови в небесах плоти. Сгустки любви.

Падаль.

Шепот прекращается. Работает станок.

Не спеши прощаться со мной.
Не спеши прощаться со мной.

Раз, раз, чмо, месячные...

Со слоненком подружиться...

чмо, залупа, раз.. (слова монотонно произносятся в мегафон)

Со слоненком подружиться...

Свет в зале! Выключите свет! Голос в мониторы!
Эй, звукорежиссер! Просыпайся! Трезвей!

Шепот возобновляется.

Медленно мимо бурых стен,
Источая прогорклый страх,
Ползти вдоль по коридору к Тем.
Кровавой пеной, лавой глена
пестовать свой

Пра..

AA
AA
AA
AAAAAAAAAAAAAAAA

Взрывы. Руки вытаскивают нерасколотое яйцо из куска смятого теста, напоминающего человеческий мозг. Треск. Вспышки стробоскопа. Кого-то тошнит.

Метроном. Мелодичная музыка. Сквозь лист бумаги проступают контуры плаценты.

Декламирующий голос Адольфа Гитлера: Es koennte nicht anders sein, als wir uns verbunden! Und wenn die grossen kolonnen unserer bewegung heute siegen... Dann weiss ich ihr schliesst euch an den kolonnen an! Vor uns – nicht Deutschland, in uns marschier Deutschland! Und hinter uns kommt Deutschland!*

Одобрительные возгласы. Скандирующие вопли:

«USA! USA! USA!»

Крик «Motherfucker let's go!» Непродолжительные танцы.

Кадры из фильмов Триера и Тарковского.

За забором – заря. За изгородью города. Новая заря проливается на степи. Золотым дождем, золотыми слезами орошает лоно земли. Земля зачала ее..

Скрежет иглы по пластинке. Стук сердца. Дыхание.

Детский голос: Ты хотела бы видеть, как я буду умирать? Нет? Но у тебя нет выбора. Я умру внутри тебя.

Вспышки стробоскопа.

* Мы должны объединиться – иначе и быть не может! И если большие колонны нашего движения сегодня побеждают, то я знаю: вы вливаетесь в эти колонны! Перед нами – не Германия. В нас марширует Германия! И за нами идет Германия! (нем.)

В темноте рассыпаются искорки
от закуренной папиросы.
Мерцающий гнев. Запах табачного дыма.
Облачного дыма.

Пространство соткано из тишины.
Я чувствую приближение.
Пространство соткано из тишины.
Я чувствую приближение.
Пространство соткано из тишины.
Я чувствую приближение.

Солнца, солнца.

Бомжи танцуют танго.

Солнца, солнца.

*В воздух взмывают разноцветные воздушные шары.
Взрываются хлопушки с серпантинном и конфетти.*

Дефлорация неба.
Я прожег окурком полинявшую простыню.
Дефлорация неба.
Я прожег окурком полинявшую простыню.

*Эстрадный хор. Продолжительные танцы
под ненавязчивую развлекательную музыку.*

Дефлорация неба. Я прожег окурком...

Африканские барабаны. Волынка. Хомус.

Навести ненависть.
Извести невесту.
Довести
до белого каления,
до ледяного огня.
Замеси мести тесто.
Навестить невесту не успел.
Вывести из себя.

Слепой спел.
Поспел к слепоте.

Это узаконенный приказ, ты обречен!
Ну зачем ты вцепляешься пальцами в небо?
Это так глупо! Так нелепо...
Ты смешон.

На кого в этот раз обрушится гневный млат?

Разбрызганная красная краска поверх плаценты растекается по белому полотнищу, образуя странный иероглиф. Маршируют солдаты. Два ребенка-близнеца в целлофановом пакете. Копошащиеся черви. Кадры из документальных хроник, старых советских кинолент, картин Бунюэля и Антониони.

Зарываться в норы, считая недели,
дрожащей молитвой лелеять надежду,
смотреть в зеркала – в лики прокаженных:
на принявших яд свободы..
Великий грех.
Великий грех.

God is a mystical mistake*.

Чахотка промокших улиц
плюет мне в лицо улыбку.
На эшафот выходят
священник и палач,
Первый – с топором.
Первый – с топором..

На извлеченном из мозга яйце копошится насекомое.

Птаха на плахе не ведает страха.
Красный воротник, черная рубаха,
Ветром разорвано горло ворона,
Горем зрочки пропитаны поровну.

Весельный клич
почему-то так

* Бог – это мистическая ошибка (англ.).

на
ПО
МИ
на
ет
МНЕ
висельный.

*Сладострастное пение слащавых юнцов.
Раскачивающееся на ветру зеркало. Обрушивающиеся дома.*

Голос старика: Нет, что ни говори, а приятно все-таки после работы сразу прийти домой. Помылся, побрился, прилег...

*Молодая женщина, оргазменно улыбаясь,
возлегает на старинном диване.*

Растаманское пение

*Гримасничающая маска из теста. Спица прокалывает яйцо.
Улыбка. Ребенок в целлофановом пакете. Тихий плач. Истери-
ческие крики. Продолжительные танцы. Ножницы разрезают
забрызганную краской бумагу с изображением плаценты. Нераз-
борчивый, наводящий ужас шепот.*

**В ДАННУЮ СЕКУНДУ МЕНЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЕТ
ТЕАТР.**

Прозрачное тело в прозрачном шаре. Еле заметно шевелится. Нет... Неверно. Скорее неподвижно. Оно еще не знает движения. Оно едва различимо. Может быть, только размытые контуры. Только контуры. Хотя и в этом нельзя быть уверенным. Ни в чем нельзя быть уверенным. Ведь прозрачное в прозрачном почти неразлично. У него еще нет формы. У него еще нет пола. У него еще нет голоса. Его еще не существует.

За пуповину троса лифт подвешен в матке шахты. В своем медленном полете вниз он монотонно покачивается, подобно маятнику. Из стороны в сторону. Пассажир неизменно впадает в состояние гипноза. Истома обволакивает виски мягкой паутиной, всё лицо прячется под этой тонкой вуа-

лю, а память поддается соблазну забытья. Тело одолевает свинцовая усталость, от которой клонит в сон. Но пассажир всеми силами сдерживает себя, чтобы не уснуть. Он сворачивается в клубок, зажимая голову между коленей, и сдавливает себе виски. Он хочет свыкнуться с болью. У него нет ни уверенности в своем существовании, ни надежды обрести эту уверенность. Только страдание. Только тишина. Беспредельная и бездыханная. Его жизнь до ужаса бедна звуками. Хотя иногда ему и мерещатся какие-то шумы, доносящиеся сквозь стены, но все они слишком слабы, слишком тщедушны, чтобы быть уверенным в их существовании. К тому же слышимости сильно мешает то, что кабина лифта до краев затоплена теплой солоноватой водой. Мутная жидкость заполняет каждый квадратный сантиметр этой металлической коробки. В воде плавают какие-то прозрачные клочки, напоминающие обрывки медуз. Периодически они возникают из глубины жидкой темноты и снова впитываются ею. Их почти не видно. Пассажир заключен в этом странном аквариуме. Со стороны его легко можно принять за утопленника. К тому же внутри лифта слишком мало света. Тусклая лампочка, вкрученная в потолок железного ящика, едва ли способна осветить это небольшое пространство, к тому же она в любую секунду может перегореть. В любую секунду. Но пассажир почти слеп, и его это мало интересует. Барахтаясь в грязном аквариуме, он думает совсем о другом. Коробка плавно опускается с девятого этажа на первый. Этот процесс протекает невыразимо медленно. Порой у пассажира возникает ощущение, что он навсегда застрял в старом обшарпанном лифте. Тишина пугает его. Он не чувствует, как движется кабина. На стене нет кнопок, нельзя позвать на помощь, невозможно вернуться обратно. Таковы правила. Ему приходят в голову мысли, что он болтается в холодной шахте дома, предназначенного под снос. Пассажир ощущает удушье. Рукам не терпится отпустить колени, а ногам – распрямиться. Ему хочется вырваться из лифта плаценты.

Вся Вселенная уместается в миниатюрный золотистый аквариум, укрытый хлопьями пены. Когда смотришь сквозь стеклянную кружку, время останавливается. Можно часами наблюдать, как бесконечные пузырьки взлетают с самого дна прямо к этим взъерошенным облакам, и каждый из них неизменно погибает, отдавая свою душу

рыхлым холодным кружевам. Из идеально сферических, зловеще-золотистых пузырьки становятся аморфными, бледно-белыми. Их судьбы поразительно сходны: каждый из них одержим этой травмой рождения и всегда находит спасение лишь в превращении в пену. Хотя, возможно, они не подозревают о своей гибели; вполне может стать-ся, что они слепы и не знают о существовании высшего кладбища. А может быть, пене известны тайны магического магнетизма? Самое захватывающее – наблюдать их в полете, когда они еще не достигли небесной накипи, но уже оторвались от дна. Как правило, они совершают свое путешествие в одиночестве.

Пассажир постоянно испытывает чувство тревоги. Это самое первое ощущение, осознаваемое им. Но волнение охватывает его мозг не оттого, что с ним что-то происходит, а потому, что с ним вот-вот должно что-то произойти.

Полукруглые липкие стены покрыты густой черной слизью. Я ничего не вижу, но могу прикоснуться к этому холодному мазуту, оставив отпечаток ладони на темноте. Иногда мне даже кажется, что после того, как цемент тьмы окаменеет, этот отпечаток тайным знаком навсегда сохранится на новоявленной стене. Но я знаю, что не стоит лишний раз прикасаться к липкости. От этого знания еще больше знобит. Внутри шара всегда очень холодно. Мрак изредка прорезают тусклые блики, стены сферы шевелятся. Мне постоянно мерещится присутствие насекомых. Отвратительная черная слизь капает отовсюду, от нее нет спасения. Она стекает по щекам, заползает в уши. Холодно. Иногда мне кажется, что стены шара прозрачны, точнее – что они затемнены только изнутри. А снаружи кто-то наблюдает. Я заперт в круглом аквариуме. Запечен в прозрачном тесте. В моем кулаке – коробок, наполненный мокрыми спичками. Они пригодятся. Это единственное, что может мне понадобиться. Я чиркаю ими о размокшие края коробка. Капающая слизь в один миг может потушить пламя, но взрывчатка – это мой последний шанс, и нужно быть начеку. Необходимо разнести на осколки этот липкий шар, взорвать его изнутри. Скорее всего, я умру вместе с ним, ведь я – часть этой черной массы. Нужно только закрыть глаза, не забыть закрыть глаза в момент взрыва.

Я ДОЛЖЕН УБИТЬ СЕБЯ, ЧТОБЫ РОДИТЬСЯ. Крик уже подступает к горлу и жаждет вырваться на волю. Скорлупа взорвется, как мыльный пузырь. Момент рождения очень похож на бунт.

Разбивая рекламный щит, ощущаешь невообразимый прилив энергии, чувствуешь ветер весны. Солнце отражается в каждом осколке, переливаясь всеми возможными оттенками, смеясь каждым взблеском. Словно птицы, рассекающие облака, эти кусочки стекол врезаются в бледно-зеленый пергамент неба. Разноцветными чернилами они расплескиваются по неровному ландшафту старого сморщенного холста. Тысячами игольчатых звезд они прокалывают занавес темноты, солнечными семенами рассыпаются в омертвевшие ледяные борозды. Взвившись ввысь, осколки на секунду застывают в воздухе спермообразными брызгами и через мгновение бросаются вниз ливнем-звездопадом. Разбитые стекла неистойвой радугой световых струй обрушиваются на бледный асфальт тротуара, нарушая мертвую тишину города, горячими ручьями взрывая мерзлую корку. А глянцевые бумажные обрывки словно конфетти... Ветер рассыпает по выцветшей улице и уже через минуту невозможно проследить траекторию их хаотичного путешествия. Короста исходит трещинами, взрываясь кипящей кровью. Отчаянным криком тысячи обнаженных капель превращаются в священный водопад весны, неудержимым потоком хлещущий по мостовой. Простой булыжник способен творить чудеса.

*In principio Clamor erat**

Ярость из глаз бурлака прожгла мое естество и растворилась в крови. Я чувствую ее в каждой артерии. Она наполняет душу вещей гордостью. Мои кости – труха, мой язык – червь, мои глаза – стекло, мое сердце – сгусток гноя, мое дыхание мертво. Но ярость жива, она незаметна для взглядов. Моя сила надежно спрятана. Я – раздавленный морской еж, размазанный по золотому пергаменту. Я – мрачный комедиант, понятия не имеющий о том, когда он врет, а когда говорит

* В начале был Крик (лат.).

правду. Я – сумасшедший шаман, пляшущий в хороводе ветров. Я дышу первозданной дикостью. Я бросаюсь под дождь, ныряю в сплетение трав и ветвей, в стеклярус серебряных нитей, в неистовый русальский пляс, заплетаю венки из рваных лучей. Я слушаюсь музыки, внимаю магии словесного ритма. Крылья рукавов расплескались по ветру. Да и сам ветер тоже пляшет, веселится на раскаленных углях. Хмель вьется в зоревующем вечностью воздухе. Сердце забылось в танце дождя. Волглые ветви на обнаженных телах русоволосых берегинь блестят при вспышках молний. Полеты рук, порывы ветра, вспышки перьев, изгибы тел, жемчужные брызги, блеск зеркал, мимика жестов, волны ветвей, всё это – таинственные заклинания, в которых пульсирует ликующая энергия. И я чувствую, что этот взрыв обладает неистовой первозданной мощью, и я вижу, что его отблески будут проецироваться на всю мою последующую жизнь. Круговорот хоровода. Тревожное томление. Бессилие ума. Алхимия танца. Падаю в великую бездну. Паруса наполнены буйством экзальтации. Я ворошу листву, вызываю века, зажигаю цветы. Неистовая энергия поэтического магнетизма – ворожея, высекающая дождь из облаков боли, шевелится первозданным хаосом в танце рождения. Свист и скрежет камлания в одно мгновение рушит ледяные замки, уничтожая зыбкую грань между хтоническим и реальным, выпуская на волю пророческий ужас. Грохот литавр и африканских барабанов рождается в стихийном вдохновении грома и обрушивается на нас избытком экстаза, неумолимым и опасным гулом. Первородная мощь переламывает горные хребты. Императоры, жрецы, властелины, прелаты – умрите! Я швыряю в зрительный зал осколки собственных сновидений. Поднимайтесь в неистовый пляс бунта! Танцуйте воспаленный бред в рыжих облаках безумия! Вслушивайтесь в дыхание флейт и сердцебиение дарабукк! Вдыхайте лед, выдыхайте пламя! Целительный гром должен загрохотать в наших висках, в глубинах нашего явленного бессознания, в артериях космического транса. В крови занимается заря. Настал час вырваться из тюрьмы единобожия, из узилища ограниченного мироощущения, из круговращения сансары! Речь идет не о религии, совсем не о ней! Пора бы проснуться! Нужно избавиться от человеческого! Нужно выплеснуться за края! Бездонные небеса открыты! Я слышу всеразрушительный рокот камнепада!

Над головой одна за другой мелькают тусклые лампы. Мутные стекла плывут по грязному течению потолка. С механической равномерностью они сменяют друг друга. Некоторые перегорели, и только блеклые ниточки-пружинки внутри них напоминают о прежнем свете. А иные и вовсе разбиты – вывернутые наизнанку стеклянные коконы, из которых извлекли личинок электричества. Я двигаюсь вместе с лампами. Меня куда-то тащат на носилках. Я привык к созерцанию потолка. Это единственное, что у меня есть. Мне даже не скучно, я нахожу разнообразие в кривых линиях трещин, переплетениях теней, мутных разводах и бледных отблесках. Всматриваясь в эту паутину, каждый раз обнаруживаю что-то новое. Иногда потрескавшаяся штукатурка крошится прямо в глаза, и от этого они слезятся. Но я не расстраиваюсь, наверное, это правильно. Холодный ветер сквозит по длинному коридору. Я провел на этих носилках целую вечность.

Все стекла плотно зашторены. Сальные помятые занавески. Наверное, когда-то они были белыми. И даже могли бы светиться в темноте при включении люминесцентных ламп. Теперь же они темно-серого сумеречного цвета – сами стремительно эволюционируют к темноте. Меня куда-то везут. Кабина «Скорой помощи» изнутри напоминает застегнутый на молнию черный мешок, в который убирают трупы. Все стекла зашторены. Теперь у меня отняли даже потолок. Только в самом углу – небольшая щель, сквозь которую мерещится небо. Твердь каменисто-серого цвета. Небо сливается со шторками и пропадает. Я везжаю в тоннель, соединяющий плаценту с гробом.

Меня укачивает. Я чувствую тошноту и головокружение. Даже холодный воздух не может помешать этому. Я ужасно хочу спать. Но руки и ноги не слушаются меня – едва я начинаю клевать носом, как они вздрагивают или нервно шевелятся. В животе копошатся обезумевшие ежи. Тошнота борется со сном. Небо раскачивается из стороны в сторону, я пытаюсь сохранять контроль над происходящим, но головокружение постепенно одерживает верх. Я проваливаюсь в спасительный сон. Мне снятся влажные осколки скорлупы.

Проснувшись, я не обнаруживаю неба над головой. Я снова внутри, в этой душной комнате. Мутные краски расплы-

ваются и концентрируются в один бледный шар. Я пытаюсь следить за его сгущением. Я наблюдаю за рождением облака. Жду, когда же оно взорвется дождем. Но облако бледно-розового цвета и не думает темнеть. Ни малейшего намека на гром или молнию. Ни малейшего намека на жизнь. Бутон не распускается. Головокружение. Туман влажной пылью липнет к рукам. Я чувствую его. По-моему, я уже вовне. Я пытаюсь найти отличия. Но я всё так же связан по рукам и ногам. Жук, который не способен перевернуться и встать на лапки. Судя по всему, он вообще не знает о существовании лапок. Он не умеет двигаться. Меня опять тошнит. Ежи в животе не перестают копошиться. Я задыхаюсь. И опять падаю в сон. В чем же тогда разница? Кто мне объяснит?

Когда я просыпаюсь, размытые краски снова мерцают над головой. Вдалеке слышны какие-то бессмысленные звуки. Иногда сквозь мерклый занавес розового дыма мне мерещится блеск глаз. Да, всё чаще и чаще мне мерещатся чьи-то глаза. Кто-то прикасается ко мне. Кто это? Но уже через секунду незнакомец безжизненным призраком пропадает в липком тумане. Уходит с видом не собирающегося возвращаться. Его фигура лишена четких контуров. Радость уже через миг оборачивается тюремным кошмаром. Я кричу. Я зову на помощь. Не знаю, зачем, не представляю, чьей помощи прошу, но кричу. От крика начинает болеть горло. Рокочущее эхо неторопливо тонет в лабиринтах пустых комнат и коридоров. В момент крика я почти ощущаю присутствие. Нет, наверное, это правильное назвать прелюдией присутствия. Во всяком случае, в это мгновение мне кажется, что я невероятно близок к присутствию. Почти вплотную. Или так легче переносить пытку розовым дымом? Иногда глаза снова появляются. Но только на миг. Чтобы они обратили на меня внимание, нужно окончательно надорвать легкие. Нужно напрячь все свои слабые мышцы. Нужно довести себя до истерики. И тогда надо мной повиснет жуткая маска. По-моему, они называют это *улыбкой*.

Сейчас в моду всё больше начинают входить необычные устройства – электронные люльки. Они снабжены специальными приспособлениями для укачивания, которые автоматически приводятся в действие плачем младенца. Крамам, закрепленным по краям колыбели, можно присо-

единить предметы сенсорной практики . В комплект входят шесть таких предметов, представляющих собой улыбающиеся лица из пластика, предъявляемые ребенку через специальное окошко.

Вокруг – фигуры в длинных черных робах. В их руках цепи и факелы. Меня держит старший жрец – тот, что загримирован как клоун. Его губы накрашены яркой помадой. Он неприятно улыбается. Мы внутри огромного святилища. Я кричу изо всех сил, но крик растворяется в его необъятном пространстве, сотканном из тишины и безмолвия. Факелы пылают, но и их света едва хватает, чтобы осветить сумрачные своды этой пещеры. Клоун окунает меня в мокрый пепел, смешанный с леденеющим снегом, и несколько минут держит там, чтобы моя кожа как следует пропиталась этой смугло-серой смесью, напоминающей цементный раствор. Мне остригают волосы. Толпа с факелами монотонно повторяет какую-то фразу на латыни. Мне на шею вешают серебряную цепочку с малюсеньким крестиком. Может быть, поэтому обряд называют *крещением*?

Пламя факелов становится еще ярче, зловещий гимн пульсирует в каждой искорке. Это же желтоватое пламя плещется и в глазницах грохочущих цепями жрецов. Лишь в самом углу я замечаю закутавшуюся в траурную материю фигурку, в ее руках – не факел, а похожая на увядший цветок свеча из зеленого воска. Ее глаза печальны. На ресницах поблескивают слезы. Я понимаю, что она не с ними.

Маленькое существо завернуто в полиэтилен. Оно шевелится и пытается выбраться наружу. Ему не хватает воздуха. Полиэтилен словно мокрое тесто всё больше обволакивает тело. Существо кричит. Оно дрыгает ногами и руками, стараясь вырваться из липкого кокона. Но вопль тонет в целлофановом вакууме, он никому не слышен. Говоря по правде, никто и не стремится его услышать. Прозрачный пакет выставлен на витрину, но прохожие не обращают на него внимания. Этот товар давно перестал быть новинкой, которая могла бы заинтересовать кого-либо. Он так же привычен, как любой другой предмет быта. Крик мутным паром оседает на смятых стенках пакета и уже через секунду стекает вниз теплыми слезами.

Жарко. В теплице всегда очень душно. Растения подвязаны грязными бечевками к гнилым перекладам – это единственный способ заставить их тянуться к потолку. Миллиарды раз проверенный способ. Никто уже толком не помнит, зачем им нужно тянуться туда – к мутному небу из толстой, непробиваемой даже градом пленки. Но их по традиции подвязывают. Иначе они упадут в грязь, и тогда их затопчут черные нечищенные сапоги. Садовники подвязывают растения для того, чтобы не затоптать их. Пленочный потолок не причем. Это только отговорка. Ужасающе нелепая отговорка. Если не подвязать, то о них просто напросто забудут. Растения догадываются об этом, но что они могут сделать? Они же не представляют, как сопротивляться происходящему, они ничего не умеют, кроме как тянуться вверх – к мутному потолку, сквозь который сочится тусклый свет! И это начинает обретать для них смысл. Они тянутся вверх в надежде прорвать потолок. Но оледенелый полиэтилен гораздо прочнее скорлупы, его практически невозможно проткнуть. Тем более, таким слабым и беспомощным существам, как эти болезненные растения с жухлыми стеблями и плакучими листьями.

Им нужна маленькая механическая кукла. Прелестная игрушечка в розовеньком кружевном платице с рюшечками и бантиками. Резиновый пупсик, который моргает глазками и тихонько пищит, если ему нажать на живот; он усердно делает вид, что любит их – взрослых манекенов. Дрессированный человекообразный пудель, который лопочет тоненьким голоском, копируя их нелепый язык. Заводной человечек, который может корчить рожицы и вертеть ручками. Они учат его притворяться. Они закутывают его в кокон из серо-голубого шелка. Так он впервые попадает в спектакль. Ему становится страшно.

Пепел окутывает небо пыльной мглой. Нас встречает стальной рассвет. Луна еще полностью не исчезла с небосвода, но уже начинает растворяться в серебрищихся облаках. Новорожденный неизменно оказывается на лунном пепелище. И во все времена ему мерещатся остатки тепла в этом сером мху, но стоит опустить туда руку, как она тут же покрывается мурашками. Холодный пепел, перемешанный с крошащимся

снегом, плотной пеленой липнет к коже. От него почти невозможно избавиться, ведь в мире спектакля эта оболочка представляет исключительную важность. Она прилипает к коже как желе и превращается в несмываемый нарост. Весь парадокс в том, что только она гарантирует выживание.

Оболочку имеет смысл изготавливать именно из пепла – способ, проверенный временем. Серо-серебристой полупрозрачной чешуей мокрая зола быстро пристаёт к лицу и быстро леденеет на ветру. Главное – сохранить в этой маске прорези для глаз. Нужно научиться контролировать оболочку.

Хлопья с еле слышным шелестом падают с сигареты, серебристым песком оседают на толстых стеклянных стенках, бледным облаком сгущаются в пыль. Новые слои, мерцая, снижаются по спирали, ниспадают на серую насыпь на дне круглой пепельницы-витрины.

Если долго тереть глаза кулаками, а потом резко открыть их, кажется, что ощущаешь отголосок того чувства, которое может испытать слепой в момент прозрения.

Пассажир – это святой варвар, для которого не существует ничего неизменного. Для него не существует даже спектакля. Он настолько безрассуден, что способен расколоть скорлупу. Его оружие – игра. Пассажир представляет серьезную опасность для спектакля. Внешне беззащитный, он обладает поистине несокрушимой смелостью. Любые проявления окованности и постоянства он превращает в руины. Пассажиры мыслят не словами. Они видят множество сказочных картинок и складывают из них собственный универсум.

Рисунок художника-пассажира всегда носит экспрессионистский характер, эти каракули исполнены внутренних переживаний – каждая кривая линия несет свое индивидуальное начало. Это творчество совершенно, ведь оно не направлено на результат. Оно немислимо без криков и жестикующации. Рисунки пассажиров переполнены смыслом, и именно поэтому они непонятны постороннему. Если бы непосвященный смог расшифровать эту тайнопись, то он пришел бы в ужас – ведь он даже не подозревает о том, что творится в голове у пассажира. Чтобы отгородиться от смысла, другой трактует эти картины как ультрапримитивные. Точно так незнакомый язык всегда кажется бессмыс-

ленным. У пассажиров, как правило, отсутствует связь между суждениями, они не чувствуют противоречий, но зато умеют объединять внешне несопоставимые вещи, разрывая обыденные связи между предметами и их постоянными признаками. Да, их удивляет едва ли не каждое явление, но одновременно для них нет ничего невозможного, ведь окружающие их предметы еще не обросли повседневными функциями.

Пассажир делает огромное количество беспорядочных движений, которые представляют собой ничто иное, как проявление первобытной энергии. Но в процессе социализации все эти первозданные, хаотичные, иероглифические жесты проходят сквозь фильтры институтов спектакля и преобразуются в функциональную деятельность. Его чувства, эмоции и мысли получают свое значение лишь при условии их инфильтрации в спектакль, в противном случае они устраняются как излишние.

Уже на самой ранней стадии автономное развитие инстинктов замораживается. Вся полифония неизменно сводится к одной ноте. Усвоение выработанных спектаклем эталонов поведения и методические упражнения в смиренности становятся обязанностью. Другой стремится организовать твой опыт. Другой считает законы своей тщедушной жизни матрицами вселенского бытия, не осознавая и даже не пытаясь понять, что это правила лишь того жалкого, ограниченного пространства, в котором он существует. Всё, что не вписывается в эти рамки, рассматривается как вредное и опасное.

Предтечей спектакля следует считать эдикт Константина. Концепт первородного греха инициировал отношение к новорожденному как к существу, нуждающемуся в постоянных инъекциях представлений о «хорошем». То, что ты вкладываешь в сознание младенца, – и есть добро. Свои прихоти ты превращаешь в его идеалы, свои заикания и запинки – в его красноречие, свое самодурство – в его заповеди, своего невежество – в его эрудицию. Так повелевает спектакль.

Подражание как единственная форма ориентировки в мире постепенно превращается в ритуал. Пассажир получает предмет готовым, не предпринимая никаких усилий для его конструирования. Эта подделка отныне заменяет подлинный мир. Но иногда ребенок продолжает ожидать своего рождения. И это желание обрести подлинность,

если оно каким-то чудом сохраняется, на самом деле, представляет собой стремление ее не утрачивать.

В сарае всегда было пыльно и темно. И еще здесь всегда отсутствовал порядок. Сколько ни пытались систематизировать всю хранившуюся тут столярно-огородную утварь, это неизменно ни к чему не приводило. Лопаты, вилы и фуганки опять оказывались свалены в одну кучу, ящики с гвоздями и шурупами снова были раскрыты, с потолка, угрожая обрушиться, свисали старые автомобильные покрышки, в углу лохмотьями скапливалась малярная и строительная одежда, на стеллажах косматилась стекловата, ноги спотыкались о рулоны рубероида, из плохо закрытых баков капала краска, на одном гвозде с пилой запросто мог висеть автомобильный насос или дырявый чайник. Всё это чем-то напоминало сваленный в кучу реквизит развалившегося театра.

В самом дальнем углу сарая на горсти битого кирпича стояла старая детская ванночка, до краев наполненная золой. Осенью золу высыпали на грядки как удобрение. Мы с соседским мальчишкой Игнатом любили забираться в дальний угол сарая, рядом с ванночкой, и сидеть там. Это исконно было связано со страхом. Изредка к нам присоединялась младшая сестра Игната, и мы пугали ее всякими шорохами в темноте, уверяя ее, что это копошатся крысы. Когда же она отсутствовала, страх возвращался к нам самим, и мы начинали вздрагивать от каждого звука – шуршания пленки или грохота шишки, упавшей на старый шифер крыши сарая. Мы наслаждались этим испугом, но это был второстепенный страх. Ведь мы сидели и ждали, пока кто-нибудь из взрослых зайдет внутрь. И нашей главной целью было остаться незамеченными.

Больше всего нам хотелось стать совсем крошечными и спрятаться между гвоздей или гаек, превратиться в оловянных солдатиков. То, что вошедший мог бы направиться в наш угол, было маловероятно, но заметить нас все-таки было не так уж сложно, ведь, вдобавок к просветам из трещин в старых стенах, солнце било и из настежь распахнутой двери темного сарая. И эти яркие ленты, в которых всю резвились хлопья пыли, извивались огненным серпантинном прямо у наших ног. Мы, как тени, вжимались в стену, прислоняясь к шершавым, пахнущим смолой доскам, и пристально следили за вошедшим. Мы часами просижи-

вали в темноте. У Игната была очень большая семья – и почти каждые пятнадцать-двадцать минут кто-нибудь из взрослых заходил в сарай за граблями, отверткой или топором. Это было составным элементом игры, которую мы озаглавили глаголом «следить». Обычные детские игры нас тоже привлекали, но быстро надоедали, а в запретных азартных (вроде карт) мы еще плохо разбирались. Сидеть в сарае, впрочем, нам тоже не разрешалось, это преступление было равнозначно чтению книг под одеялом (при помощи фонарика). Но запретить можно что угодно, кроме фантазии. Поэтому мы изобретали свои игры – наподобие той, что называли «следить». В ней весь мир четко разделялся на посвященных и непосвященных. Посвященных было двое (младшая сестра Игната никогда не любила «следить» и не понимала смысла этой игры). В качестве непосвященных фигурировали все остальные, ибо посвятить их в нашу игру было невозможно по определению. Когда они замечали нас, прятавшихся в кустах, они никогда не могли понять, почему мы сразу же начинали убегать. Им всё это казалось странным хулиганством, заслуживающим наказания. На самом деле, быть замеченными означало потерю игры. Это никак не было связано с темой «разведчиков» и тому подобной ерундой. Нет, мы не выполняли никаких «спецзаданий», мы со скрупулезностью патологоанатомов исследовали вселенную непосвященных. Игра была нашей сокровенной тайной.

Я еще помню это ощущение. Едва ли я смогу забыть его. Оно слишком въелось в память. Оно слишком натурально. Это было моим первым столкновением со спектаклем. Ощущение огромных чужих предметов. Огромных и бессмысленных, иссохших, застывших в своем значении. Окаменелые предметы находились повсюду. Груды барахла загромождали всё свободное пространство. Мертвые, застывшие статуи. Такие обычно располагают на витринах. Они ценны именно тем, что не сдвигаются с места. Когда я смотрел на них, я испытывал не только ужас, нет. Это чувство сложно определить одним словом. Ужас в нем тоже присутствовал, но наряду с любопытством, окрашенным опасностью. Любопытство и страх постоянно чередовались и наслаивались друг на друга. Именно это неясное переплетение и порождало мое сомнение. Я воспринимал эти пред-

меты как неправду, как опасное, гибельное приключение. Они не были похожи на настоящие, на подлинные, на существующие. Когда же предметы начинали двигаться, это неизменно производило на меня ошеломляющее впечатление – настолько неестественно они подражали живому. Я не верил, что они могут представлять собой что-либо, кроме декораций, скрывающих подлинное. Мне всегда хотелось разрушить их. Услышать, с каким грохотом они свалятся на пол. Так в унылом, скучном, до смерти надоевшем зрителю спектакле появляется новый герой, отсутствующий в заявленном списке действующих лиц. Незванным гостем врывается он на сцену, разбудив зрителей, доводит до инфаркта режиссера, приводит в ужас коллег-актеров. Нарушив яростным криком их привычный пыльный покой, он мешает им талдычить заученные реплики. Мне казалось, что в один момент обязательно должен выйти кто-то, кто рассмеется вместе со мной над нелепостью спектакля, над грубостью и вульгарностью помпезно-безвкусного обрамления безжизненной чепухи, над декорациями пустого времени, над бессмысленностью мира взрослых.

Я обожал строить башни из всех попадавшихся под руку предметов. В роли строительного материала могли выступать деревянные чурбаны, пустые пивные банки и бутылки, игральные карты, ржавые железяки. Мне нравилось сооружать из всего этого барахла странные бесформенные конструкции. Но еще большее, почти маниакальное удовольствие я получал от разрушения собственных построек. Мое творчество достигало своего апогея именно в момент разрушения: кульминационным моментом всего строительного процесса становился миг, когда я заставлял башни рухнуть. Я не любил, когда они падали случайно – от ветра или от моей неловкости, нет, разрушение должно было быть осмысленным. В момент распада они получали свое второе рождение. Мне было почти до слез жаль разрушать собственные постройки, но я всегда испытывал потребность в повторении акта деструкции, в навязчивом возвращении к болезненному переживанию. Но при этом я готов поклясться, что впечатление от игры всегда было новым, неожиданным и именно поэтому она никогда не надоедала. В момент падения Эрос и Танатос обретали магическое слияние.

Крик – это первофеномен смысла. Крик создает игру. Игра рождается из тяжелого душевного потрясения, из отрезанной тоски, и она начинает противостоять духу серьезного, который с древних времен правит миром. Импульс игры – носитель освобождения. Игра не связана с выгодой, она не заключает в себе принуждения, не вмещается в пределы рациональности, она вне разума, она не целесообразна. Детству неведомо желание наживы. Игра – это бунт против приказов спектакля, и потому она всегда сопряжена с опасностью. Это способ уничтожения повседневности. Вдохновение стремится охватить всё жизненное пространство, одновременно являясь поиском этого пространства. В игре переживания и эмоции стремятся обрести подлинность. Омертвевшие предметы, поставленные в неожиданные обстоятельства игры, наделенные новым языком, могут выявить в этом мистическом преображении свою вторую жизнь, серьезное становится несерьезным и наоборот. Участвующий в игре видит все предметы иначе, чем те, кто остается за ее пределами. Когда он, прищурившись, смотрит на них сквозь свои пальцы, эти серо-желтые декорации начинают сверкать как калейдоскоп. Игра дарит блаженное ощущение свободы. Освобождаясь от повседневных функций, предметы сказочным образом оживают и превращаются в метафоры (и сам язык игры защищает их от лжепонимания). Ведь любая вещь – это вовсе не то, чем она кажется. Игра исцеляет предметы, сдувает с них пыль спектакля. Игра всегда связана с загадочным и пугающим риском, ведь это тяга к тайному и запретному – тому, что выходит за пределы повседневного мира. Исключительное значение в игре приобретает фантазия. Фантазия полностью свободна от власти принципа реальности. Простые слова наделяются новым смыслом. Привычные понятия обнаруживают новые оттенки, не существующие для других – тех, кто не посвящен в игру. Здесь впервые рождается пластика духа – мускул жеста, он появляется как продолжение крика, как движение, указующее на него. Рисунок становится символом крика, а слово – его знаком. Крик всегда незримо присутствует в игре, которой приходится искать новые формы его воплощения. Впрочем, формально крик не запрещен. Просто он никогда не будет адекватно воспринят окружающими. Спектакль вообще мало что запрещает: всё построено таким образом, что никому не придет в голову

совершить что-либо непривычное. Спектакль не станет бороться с тем, кто не мешает, кто не представляет опасности. Но игру спектакль, разумеется, стремится уничтожить или, по крайней мере, максимально ее локализовать, подчинить ее, он делает всё, чтобы превратить игру в подражание или, хуже того, – в состязание. Понятия *выигрши* и *проигрши* не имеют никакого отношения к игре, они были искусственно внедрены в язык с целью ее уничтожить. Спектакль всё переворачивает с ног на голову, чтобы подлинное расценивалось как притворство. Повседневность ужасно боится проблесков живого, повседневность страшится подлинного, и поэтому она разработала множество ловушек, множество псевдотайн. И только упрямый следопыт способен разгадать их и продолжить поиск подлинного среди манекенов и декораций.

В детстве она очень любила, лежа на кровати, вытягивать ноги вверх – вдоль стены и разглядывать деревянный потолок – глазки сучков, царапинки и пятнышки. Между старыми досками прятались кусочки пакли, соринки и паутина. Иногда пауки выползали наружу, и прямо так – вверх ногами ползали по потолку. Она побаивалась пауков, но не настолько, чтобы отказаться разглядывать потолок. В сетчатом переплетении деревянных трещин она обнаруживала чьи-то лица, фигуры, какие-то странные строения и ландшафты. Точно так же она любила рассматривать звездное небо, наблюдать, как огненные осколки падали в наполненную дождевой водой деревянную бочку и мерцали там до самого рассвета. А иные звезды закатывались под ее кровать и превращались в светлячков. Она часто видела разные картинки – воображала всякие фантастические вещи, а в таком «перевернутом» положении сказочные рисунки чаще приходили в ее голову. Среди деревянных сучков и темных пятен, хитроумных петель, разводов и змеящихся трещин она обнаруживала лица несуществующих загадочных персонажей, оживавших только в момент созерцания. У многих были строгие точеные профили, у иных – круглые пухлые щеки, у некоторых человечков лица были завязаны черными платками, а у одного даже имелось бельмо на левом глазу и птичий клюв вместо носа. Но на одних человечках картинки не заканчивались – о нет! – ее взору открывались города, населенные неведомыми сказочными существами,

леса, моря, небеса, целые вселенные. Порой на карте потолка обнаруживался даже ее дом, и сквозь раскрытое окно она видела саму себя, лежащую на кровати и глазеющую вверх. Она никому не рассказывала о тайне деревянного потолка, кроме своей несуществующей подружки по имени Инга. Сестру-двойника она посвящала во все свои секреты. С ней многие вещи казались менее страшными. Например – темнота. Она провела почти всё детство в деревне, и туалет там находился на улице, метрах в тридцати от хаты. Разумеется, никакого освещения внутри небольшого деревянного сруба отродясь не было. И поздним вечером она ходила туда вместе с Ингой – чтобы не было страшно. Когда они шли туда вдвоем, на них никогда не нападал мужик, живший в туалетной яме.

Мы сломя голову несемся по проселочной дороге, вдоль деревьев – к экватору горизонта. Ало-синее небо просвечивает сквозь густую листву. Наверное, уже вечер. Но для нас не существует ни дня, ни ночи. Для нас не существует времени. Мы погружаемся в теплый, дующий с поля ветер.

Интересно, смогу ли я не думать ни о чем хотя бы минуту?.. Ну ладно, минута – это, пожалуй, чересчур долго, для начала хватит и нескольких секунд. Нужно попробовать... Нет, я думаю о том, что решил ни о чем не задумываться. Не годится... Ага, вот сейчас я пару секунд вообще ни о чем не думал... Нет, я думал о том, что ни о чем не думаю... А как определить, когда я начинаю думать?.. Как узнать этот момент?..

Ребенок страдал близорукостью – не настолько сильной, чтобы постоянно носить очки (ими пришлось обзавестись гораздо позже), но вполне достаточной для того, чтобы гиперболизировать фантазию. Во всех окружающих предметах он замечал неожиданное. Засохшая половая тряпка могла оказаться спящей кошкой, выкорчеванный пенёк – псоглавым осьминогом, развод на стене – лицом какого-то неведомого существа. А уж о надписях и говорить нечего – буквы перескакивали на другие места, вывески и таблички безвозвратно утрачивали свои скучные значения и превращались в заколдованные стихи: *шторы* становились *шпорами*, *обои* – *гобоями*, *гастроном* – *астрономом*, *посольство* – *фасольством*, *обувь* – *бровью*, *одежда* – *надеждой*

или *дождем*, ну и так далее. И ему казалось удивительно смешным то, что окружающие не замечали этих очевидных каламбуров.

Играющий ежесекундно создает собственный прото-язык, на котором выражает свои эмоции, – и, прежде всего, это язык экзальтированной пляски и крика. Играющий оперирует множеством категорий, непонятных непосвященному. Одновременно в его уме происходит четкая классификация суффиксов, префиксов, флексий по разрядам и рубрикам, которая для непосвященного представила бы неразрешимые трудности на грани помешательства. Работа, совершаемая его мозгом, и его речевая одаренность, поистине феноменальны, ведь он осознает способы словообразования гораздо лучше, чем манекены, чье словоощущение порядком притупилось, практически сошло на нет, превратилось в выбор подходящего выражения из комплекта готовых штампов. Спектакль делает язык мертвым.

Играющий не учит язык, это заблуждение. Нет, он творит его. Слово кажется ему живее, чем вещь, отмечаемая им. Существующие слова приобретают в их языке новые значения, а часто и их не хватает, и тогда играющий изобретает свои собственные, осуществляя немислимые футуристические опыты, открывая новые методы словообразования. Эта стихийная поэзия оживляет мертвые корни, зачастую переменяя в слове один или пару звуков, а то и вообще не меняя его формы, она заставляет его безвозвратно погрузиться в игру, подчиниться ее ощущению вещей: *всадник* – это тот, кто живет в саду; *богадельня* – место для изготовления богов; яйцо *отскорлупливают*; а крутящиеся шарики ртути становятся *вертутью*.

Однако это изоощренное чутье языка (так же, как и ска-зочное восприятие мира) довольно быстро притупляется, а школа, как правило, окончательно нивелирует способность к словотворчеству.

Дым под землей. Густыми хлопьями он забивается в легкие и выходит наружу сдавленным кашлем. Прозрачной паутиной он обволакивает каждую клетку моего тела, смятым полиэтиленом свисает перед глазами. Я понимаю, что нужно как можно скорее выбираться из холодной ямы с

глинистыми стенами, которую в течение недели стремился сделать своим жилищем.

Землянка находилась далеко за воротами, на углу леса. Глубокая яма, накрытая решетчатыми изголовьями старых, проржавевших и выброшенных за ненадобностью кроватей, найденных мною на свалке. На них лежали куски полуистлевшего рубероида, присыпанные землей и травой. Вход в землянку – тайный люк – был накрыт осколком зашлого шифера. С расстояния пяти метров этот зеленоватый волнистый обломок просто сливался с травой. Убежище было надежно спрятано.

Сложно сказать, с какой целью я выкопал эту землянку. Во всяком случае, для жизни она точно была непригодна. Даже спать в ней было почти невозможно – разве что в позе утробного младенца, согнув ноги в коленях и поджав голову. К тому же внутри пещеры всегда было холодно. Земляные стены были пропитаны мокрой стужей. Чтобы согреть помещение, я, проделав в углу рубероидного потолка отверстие, развел прямо под дымоходом небольшой огонь из березовых веток. Но дрова были мокрыми, и дым вместо того, чтобы выходить в это подобие трубы, заполнил всю земляную комнату, и я сразу же начал задыхаться. Это ощущение напоминало тот страх, который я однажды испытал внутри закружившейся морской волны, когда не мог вынырнуть из-под воды в течение минуты. Я дышал дымом, мое тело отказывалось сдвигаться с места, хотя мозг иступленно взывал о помощи. Я словно окаменел. И лишь в последний момент каким-то чудом я заставил свои руки поднять шифер и вырвался из этой самодельной могилы. С тех пор я никогда не возвращался в землянку.

Оловянный мальчик огляделся по сторонам. Его окружала пыльная темнота. Только через замызанное стекло форточки, расположенное почти под самым потолком мастерской, просачивались змейки сумеречного света. Это мерцала луна. До пола эти взблески не добивали, а растворялись примерно в метре от закопченного окошечка подобно тому, как тает в темноте белесый дым, выпущенный обугленными легкими курильщика. Но, просидев в потемках много дней, мальчик приспособился различать очертания окружавших его предметов. Сколько же странных вещей было беспорядочно свалено вокруг: какие-то гвозди, проволочки,

ремешки, иглы, сверла, шурупы, саморезы, шайбочки, лезвия, осколки, гайки, кусочки пакли и обрывки стекловаты. Всё это было беспорядочно разбросано по пыльному полу. Предметов было невероятно много, но все они казались привычно-скучными, не наделенными смыслом. Только однажды какая-то странная вещица привлекла внимание оловянного человечка – железная коробочка прямоугольной формы с открывающейся крышечкой сверху. Этот предмет заинтересовал мальчика, показался ему посторонним, случайно потерянным среди всего хлама мастерской. Приоткрыв крышечку, он обнаружил внутри отверстие, из которого тянуло странно-резким ароматом, напоминавшим запах технического спирта. А рядом с отверстием располагалось непонятное маленькое колесико-шестеренка.

Большие не могли быть детьми. Даже много-много лет назад. Это невозможно. Большие не умеют плакать.

Пассажир теряет непосредственность, когда начинает осознавать, что ему дозволено существовать только как обратной стороне другого. Между желанием что-либо совершить и действием теперь появляется еще одно психологическое звено – ориентация на другого. Другой присутствует в каждом окружающем предмете, другой контролирует каждый шаг, другой требует исполнения приказа. Мнимая самостоятельность представляет собой частный случай тотальной регламентации, ведь функции контроля и оценки всегда принадлежат другому: **пассажир существует только по воле другого**. Сначала пассажиру трудно осознать, что его судьбу вершат другие, ему кажется, что другой один, что с ним можно договориться, но потом их становится двое, а в дальнейшем число других всё больше увеличивается и, в конце концов, приближается к бесконечности. Мозг пассажира постоянно пребывает в фазе ломки и деформации, его одолевает рассогласование: стимул всё больше не соответствует образу. Другие определяют весь смысл существования пассажира, тщетно пытающегося отделиться от них, чтобы обрести собственное присутствие. Но сценарий не позволяет ему родиться. Все, что ему предоставлено, – это подражание другому и возможность самому превратиться в другого.

Когда находишь момент, чтобы высказать то, что давно собирался, всегда формулируешь мысли чересчур быстро, какими-то урывками, заикаясь. И в результате говоришь совсем не то, что хотел.

Лица. Очень много физиономий. Красных, потных, смеющихся морд. На миг они тонут в темноте и снова появляются маслянистыми бликами. Их напудренные парики, расшитые золотом камзолы, накрахмаленные локоны и маскарадные маски лоснятся от тусклого водянистого света. Кромешные гримасы. Иногда мне кажется, что всё вокруг – одна большая издевательская ухмылка. Подлая и омерзительная. Что-то скрывающая от меня, но требующая вымолить у нее этот секрет. Звон бокалов, скрежет зубов, хлопки в ладоши, родинки на щеках, противный гомерический хохот, кислая вонь подмышек. Люстра раскачивается, попеременно освещая разные части комнаты. Зубы пережевывают пищу. Чавканье и скрежет. Руки бессмысленно теребят серебряные ножи и вилки. Сахарницы, салатницы, бутылки, рюмки. Очки, усы, сигареты, сережки. Как скучно они веселятся. Хочется заползти под стол, ведь только там удастся укрыться от навязчивых взглядов. Под столом всё выглядит куда смешнее, чем снаружи. Блеск бокалов не слепит глаз, а вместо напыщенных важных особ здесь – ноги, брюки, юбки, носки, чулки и тапочки. Да, нужно как можно быстрее спрятаться под стол. Но они окружили меня, взгромоздили на табуретку и просят прочитать стихотворение. А я этого терпеть не могу. И упрямо молчу. Тогда чья-то рука хватается за нос и начинает водить из стороны в сторону под несмолкающий аккомпанемент восторженного хохота. Я захлебываюсь гневом, но мне запрещено кричать. И тогда я высмаркиваюсь прямо в эту руку.

У других искусственная кожа. Я понял это не так давно. Грубая как наждак, но при этом толстая, как резина, подделка. Они берут в руки предметы, от одной мысли о прикосновении к которым мне становится не по себе, настолько я не выношу их вида. А жизнь других невозможно представить вне этих предметов.

Иногда мне снится, что я способен смотреть сквозь их оболочку. И тогда становится еще страшнее.

Опухоль города разрасталась на коже земли. Каждый день ненасытная болезнь заглатывала всё новые людские массы. Город неустанно омертвлял природу, он превратил луга в подстриженные газоны, леса – в чахлые скверы, реки – в мертвые каналы. Всё живое тонуло в этой серой, холодной воде.

Великан взял в руку город и со всей силы сжал ладонь в кулак. Ему надоело быть узником серо-коричневого skleпа. Дороги в один миг скрутились как мелкий серпантин; нитки заборов, связывавшие землю, порвались; щепки небоскребов тихонько захрустели; памятники, арки, мосты, строительные краны, подвесные леса, лестницы, эскалаторы, чертовы колеса – всё это исчезло. Между сжатых пальцев стала сочиться серая грязь.

Но великану этого было слишком мало. Он мечтал избавиться от ржавой арматуры внутри своей груди. С каждым днем эти спицы всё больше стремились прорвать стены плоти, ему даже начали мерещиться первые трещины. Великан чувствовал, как разрастались металлические прутья, царапая грудь изнутри и распирая ребра. Но он не знал, как избавиться от этих железных водорослей. Он никак не мог постичь тайну тех обстоятельств, в которых оказался. Спектакль разрастался не только снаружи, но и изнутри.

Спать посреди дня – что может быть хуже! В тот момент, когда ты погрузился в игру, тебя снова возвращают обратно в кокон одеяла. Притворяться спящим – это целая наука. Не всякому под силу ее освоить. Один из способов, чтобы большие не раскусили, что ты не засыпал, – научиться не моргать. Спящие никогда не моргают. Вы не замечали? Но это так, их веки недвижимы. Только дыхание выдает в них жизнь. Главное – направить зрачки вниз и изо всех сил напрячь их, тогда у наблюдающего возникнет иллюзия, что ты на самом деле уснул, он постоит с минуту и прекратит надзор. Страшнее всего – впасть в летаргический сон, в кому или как там еще это называют? Говорят, что таких уснувших неоднократно хоронили заживо, а просыпались они уже в гробу, но никак не могли выбраться.

Больших никогда всерьез не интересовало то, о чем он размышлял, то, что было для него важным. Они могли делать вид. Иногда, пожалуй, им даже удавалось убедительно изобразить заинтересованность, но даже в эти минуты он все-таки осознавал, что под оболочкой их улыбки – полное безразличие. Они говорили лениво, их стеклянные глаза всегда смотрели как бы сквозь него, так обычно глядят в окно – толком не задумываясь о том, что там происходит. Вуаль доброжелательности едва прикрывала их апатичный, абсолютно непроницаемый взгляд. Зато их занимали внешние детали, частности и мелочи: состояние его одежды и обуви, его прическа и прочая дребедень. А как раз этому он сам уделял очень мало внимания. Большие вызывали в нем ответное безразличие, он молча слушал их замечания и пытался грызть ногти, но за это его еще больше ругали. Когда же он совсем перестал делиться с ними своими мыслями, они недовольно стали называть его скрытным.

В детстве у него неоднократно обнаруживали гнид. Так уж выходило, что они время от времени заводились в его косматых волосах. Нередко этот не самый приятный факт громогласно констатировали в парикмахерской. Женщина в белом халате подставляла его голову под кран, мочила волосы, брала ножницы, но потом начинала некоторое время разглаживать лохмы руками (а иногда это происходило и до начала всей процедуры стрижки), а через пару минут объявляла, что отказывается его стричь. Весь его план – сбежать, ничего не заплатив, рушился, и его с позором выставляли на улицу. Уже через пару дней из гнид вылуплялись вши, и голова начинала неимоверно чесаться.

Я помню черный силуэт сгорбленного старика, сидевшего под ветхим, гнилым забором. Одно из самых сильных впечатлений моего детства. Пустые глаза, впалые щеки, выцветшая борода, его истлевшие лохмотья, сквозь которые просвечивала синеватая зарубцевавшаяся кожа, – всё это навсегда запало мне в память. В его взгляде сквозило безумие. Я боялся его окаймленного длинными седыми прядями пронизательного лица. Но страх не удерживал меня от того, чтобы лишний раз взглянуть в его сторону, когда я проходил мимо. Закутавшийся в лохмотья, ссутуленный старик вечно смотрел в одну точку – ввалившиеся,

стеклянные, пепельно-голубые глаза, обведенные черными кругами, неизменно были направлены на дорогу. Отвлеченный взгляд из впалых глазниц обволакивал все окружающие предметы, но не был сосредоточен ни на одном из них. Он смотрел сквозь прохожих. Иногда я на секунду останавливался на дороге, чтобы внимательнее рассмотреть его, но казалось, он не замечал и меня, настолько недвижимы были его уставившиеся вдаль ледяные зраки. Будто бы его взор был обращен вовнутрь, в неведомый, находившийся по ту сторону реальности мир. Но таким взглядом запросто можно было убить или воскресить. Я уверен, он смог бы, стоило только захотеть. Из его склеенных молчанием уст никогда не раздавалось ни одного звука, только волны морщин изредка пробегали по ссохшемуся холсту лба, заплетаясь вязью новых узоров. Мрачное молчание мучительно давило на меня, как бетонный пресс. Старый забор накрепился, и казалось, что стоит старику встать – и рухнет вся длинная изгородь. «Может быть, поэтому бродягу не прогоняют?» – усмехнувшись, подумал я однажды. Странно, но этот ссутуленный, грязный, пугавший меня своим мрачным обликом нищий все-таки нравился мне больше других людей. В безветренную погоду я проходил мимо, чтобы услышать его натужное хрипкое дыхание. Я любил его отуманенные, обреченно-тоскливые глаза, отражавшие нелюдность, усталость и скуку, его горестные гримасы, и мне было неприятно ощущать себя прохожим.

– Зачем тебе этот нож?

– Я хочу убить маму.

– Убить? Но что это изменит?

– Мне кажется, что это изменит всё.

– Вовсе нет, твое намерение убить ее на самом деле является обратной стороной желания с ней помириться. Мне уже давно не интересна ненависть. Она не избавляет от мыслей и воспоминаний. Лучшее, что можно придумать, – это полностью исключить общение с великой матерью.

Я заметил, что другие ощущают свою силу только когда их много. Дело даже не в массе, не в том, что им постоянно нужно быть вместе. Другой ощущает свое превосходство, только если он среди своих, то есть тогда, когда чувствует,

что пребывает в мире таких же, как он сам. Физически их даже может не быть поблизости, просто он должен ощущать их мифическую поддержку, и это придает ему уверенности. Он не теряет самообладания, пока чувствует свою территорию. Но стоит другому оказаться в одиночестве, как сразу обнаруживается, насколько он жалок. Все они до ужаса трусливы.

Актеры, участвующие в действии, рассказываются на маленькие детские стульчики и обращают взоры на широкий экран.

Шелест страниц.

Учительница математики (*читает книгу*): Спектакль возвращает искусственные цветы.

Учитель рисования: Но ведь можно растить живые...

Директриса (*съедает учителя рисования*): Нет, живые нам не нужны. Уж поверьте мне, директору.

Учительница математики (*продолжает читать*): Школа – это одно из проявлений спектакля. Спектакль охватывает всё наше жизненное пространство.

Стук каблучков по паркету.

Учительница математики: Пункт первый: классная комната. Пункт второй: куклы. А где куклы?

Ученица: Я – лучшая ученица в классе. Я всегда прихожу раньше всех. Ой, кто это идет... может быть, это учительница?

Первый ученик: Да нет, это всего лишь я.

Второй ученик: Что это? Где я? Неужели снова в этой комнате?

Первый ученик: Да, да, ты снова здесь! Я тебя поздравляю! Ты выздоровел! Ты снова с нами! И сегодня у меня есть кое-что для тебя! Лови (*кидает тряпку*)!

Второй ученик: Э, что это за тряпка (*кидает в ответ*)?!

Первый ученик: Принимаю подачу.

Ученица: Эта тряпка – твой мозг, болван.

Учительница математики (*говорит в мегафон*): Садитесь на свои места. Я начинаю урок математики. Так, кто сегодня присутствует? Вернее отсутствует, аксиоматика

спектакля исключает категорию присутствия. Вы помните об этом? Кто может объяснить, что такое присутствие?

Ученица: Пережиток прошлого, рудимент.

Учительница математики: Я могу согласиться с тем, что присутствие – это пережиток прошлого, но это не рудимент. Кто знает, что это?

Первый ученик: По-моему... ну, насколько я помню, это называется артефакт. Кажется, так.

Учительница математики: Да, на этот раз правильно. Присутствие – это именно АРТЕФАКТ!

Второй ученик: А по-моему, присутствие – это обретение подлинности (*из его рук вылетает бабочка-траурнирца*).

Учительница математики (*бабочка присаживается на ее голову*): Подлинности? Фу, какая гадость (*прогоняет бабочку*)!

*Неожиданно в классной комнате появляется новый персонаж.
Это несуразный великан.*

Второй ученик: Привет, великан! А мне говорили, что я выздоровел, и ты больше не вернешься...

Великан: Да, они не хотят, чтобы я возвращался. Скажу одно: выброси учебник, а то он убьет тебя.

Учительница математики: Ха-ха, попался, наконец! Спектакль превращает великанов в наладонников (*великан становится малюсеньким человечком, стоящим на ладони учительницы математики*)!

Учительница протирает доску

Итак, продолжим. Возьмите учебники. Каждой конкретной констелляции спектакля требуются амбивалентные декорации. Спектакль взращивает искусственные цветы, скрупулезно модифицирует маленьких механических кукол во взрослых манекенов. А те, кто болезненно переживает трансформацию, – травмированы и нуждаются в лечении. Таковы незыблемые законы спектакля.

Неожиданно открывается дверь в классную комнату.

Учитель рисования: Я очень извиняюсь...

Учительница математики: Стоп! Но это мой урок!

Учитель рисования: О, боже... Я только хотел показать детям картины. Просто я подумал – не слишком ли много математики? Ведь есть и другие предметы. Вот рисование, например.

Учитель растворяется в воздухе. Рука директрисы размечает обрывки букв, на которые распались произнесенные им слова.

Директриса (возмущенно): Хм, рисование. Давно пора отменить этот бесполезный предмет.

Учительница математики: Да-да, именно так.

Директриса (поправляя очки): Так, а что собственно происходит? А где все *(неожиданно падает)*?

Группа учеников (склонились над телом директрисы): Куклы уже готовы занять место манекенов! Куклы уже готовы занять место манекенов! Добро пожаловать в спектакль!

Детский смех. Продолжительная веселая музыка. Танцы.

Из каких-то ниточек, веревочек, винтиков, комочков ваты, шестеренок, бритв, спичек, перьев, разноцветных лоскутков, кусочков хлебного мякиша, осколков стекла и обрывков бумаги они пытаются сконструировать подобие человека. Приклеивают ему бусинки глаз, прилаживают руки и ноги. И что же у них получается? Я вижу какого-то кукольного паука, нелепое существо на циркулевидных лапках – мохнатых, покрытых жесткой металлической щетиной спицах. Это создание всю жизнь плетет вокруг себя причудливую, обладающую сложной геометрией паутину – крохотную частичку Высших Тенет. Его тонкие лапки привязаны к прозрачным лескам. Они неестественно шевелятся – так, словно кто-то дробит на кадры изображение. Паук-марионетка. Я в ужасе смотрю на этот нелепый танец механического тарантула.

Мои слезы часто переходят в смех, а потом опять становятся слезами. Я не могу объяснить, почему так происходит. У взрослых это обычно называют истерикой, про детей говорят, что у них еще неустойчивая психика. Тогда выходит, что истеричные взрослые – это дети. Но ведь

вполне очевидно, что это не так. Я совсем запутался. В любом случае, одни и те же люди, предметы, явления могут в разное время вызывать у меня то смех, то слезы. Наверное, я нечестен. Таких, как я, обычно называют лгунами. Но почему? Мне кажется, что я искренен в эти моменты. Я никак не могу это объяснить. Наверное, у меня все-таки расстроены нервы.

Замесив тесто и приготовив его к выпечке, пекарь ожидал, пока закиснет новое. Запудренный мукой, он удивительным образом походил на замаранного мелкой мраморной крошкой и пылью скульптора.

Сценарий – это рецепт превращения в другого. Пациент детской поликлиники получает этот рецепт непосредственно из рук другого. Сценарий во всех случаях разрабатывается другими, не имея ничего общего с индивидуальными потребностями пациента. Другие отсекают все элементы поведения, которые не согласуются со сценарием. Сценарий избавляет от необходимости самостоятельно принимать решения. Он дается извне, ни один из нас не способен на его свободный выбор и, тем более, не имеет прав на его написание и даже корректировку. Однако изначально он далек от совершенства, ведь участие в спектакле требует многократных репетиций, в ходе которых в протокол могут быть внесены некоторые поправки и дополнения, связанные с изменением ролей. Это придает сценарию определенную социальную ценность и привлекательность, а каждая роль обретает оболочку индивидуальности – ощущение уюта. Именно на это и рассчитана логика спектакля: сценарий в девяноста процентах случаев принимается добровольно. Но иерархия спектакля не предусматривает ни одной роли, от которой бы зависело действие. Формулировки сценария постоянно модернизируются, они могут варьироваться, принимать самые разнообразные сочетания, наслаиваться друг на друга, но по сути они неизменны: все персонажи, задействованные в спектакле, крайне ограничены в способах исполнения ролей, а основная тема сценария безусловно константна. Сценарий – это не череда событий, а связанная каузальная цепочка функций. Это предписание, позволяющее разными путями (включая окольные) прийти к одному и тому же финалу. Из-

битая шекспировская метафора сжимается здесь до масштабов рекламного слогана, обретает нарочитую однозначность, до ужаса примитивизируется спектаклем, сохраняя при этом личину полиморфности. Каждый актер подобен певцу, поющему под фонограмму. Всё, что он умеет, – это в нужный момент разинуть рот. Он запрограммирован.

В начальной школе я ненавижу уроки музыки. Пение было самым скучным предметом. Я терпеть не мог этих скулящих интонаций самодеятельного хора. А учительница в длинном черном платье отличалась особой строгостью. Несмотря на то, что в музыкальном классе не было парт, стулья стояли полукругом, на стенах висели картины и музыкальные инструменты, а вместо учительского стола у входа располагался черный рояль, обстановка подавляла еще больше, чем в обычных аудиториях. Это необъяснимо, но внешняя демократичность неизменно производила еще более тоталитарное впечатление на мозг, чем стройные ряды школьных парт в других классах.

Черный рояль мне запомнился – с ним была связана одна история. Опоздав на урок, я медленно зашел в раскрытую дверь, ожидая выговора. Но учительница не заметила меня. Она вышла из-за рояля и, стоя спиной ко входу, демонстрировала классу дыхательные упражнения, способствующие постановке голоса. Крышка рояля была открыта. Я достал из кармана горсть медных монеток, скопившихся за несколько дней, в течение которых я научился бесплатно проходить через турникеты метрополитена. Я быстро подошел к роялю и со всего размаха высыпал медяки прямо на толстые струны. Я до сих пор помню тот прекрасный оглушительный звук, нарушивший своим величественным диссонансом холодную тишину классной комнаты.

Влюбленность ребенка может быть сильнее влюбленности взрослого. Мне всегда казалось противоестественным стремление взрослых обладать монополией на любовь.

Гладкая поверхность стола измазана чернилами. Рядом валяется истрепанное перо. Обратной стороной его обмакивали в чернильницу и тыкали в отполированное дере-

вянное зеркало. Перевернутая чернильница валяется тут же, в самом центре темно-синей лужи. Кое-где видны отпечатки ладоней. Кто это сделал?.. Всё это он!.. Да, да именно он!.. А теперь пытается делать вид, что он ни при чем!.. Я не понимаю, о чем они говорят... Зачем они врут?.. Розги, немедленно принести мокрых розог! *A genoux!**

Огромной спицей они прокалывают его грудь. Сквозь отверстие сквозит леденящий ветер. Специальным шприцом они высасывают из его нутра сердце, легкие и мозг. В конце концов, в нем не остается никаких внутренностей, только кровь. Внутри скорлупы больше нет ядра. Он – яйцо, наполненное кровью. Да, именно так. Именно так. Инициацию можно считать состоявшейся.

Яйца разложены на картонных поддонах: по три десятка на каждом, все в отдельных ячейках. Помимо бумажных перегородок их отделяет друг от друга скорлупа.

Больше всего я не люблю, когда они смотрят на меня. Мне неприятна липкость их снующих взглядов, хитрых прищуров, ехидных подмигиваний. Я делаю вид, что они мне безразличны, но, похоже, они догадываются, что на самом деле это не так, понимают, что я хотел бы спрятаться. Они надо мной – слюнявые дыры их ртов. Наклоняются так близко, что я ощущаю гнильцу их выдохов и смрад их пота. Они знают, что мое молчание – это свидетельство страха, а мое оппозиционное поведение – лишь форма зависимости. Они хотят, чтобы я боялся оставаться один. Они хотят, чтобы я почувствовал стыд, чтобы я стыдился самого себя, чтобы я боялся вызвать их неудовольствие, чтобы я покаялся в преступлении, которого не совершал. Собственно говоря, я толком не могу понять, чего они от меня добиваются, но если я подчинюсь, то мне кажется, что от меня отстанут. Хоть ненадолго. Но все-таки я не соглашаюсь. Я зарываюсь поглубже в лохмотья, продираюсь всё дальше и дальше, кутаюсь в серое тряпье, съеживаюсь как пожухлый лист, сплетаю искусственный кокон.

Нет, я пытаюсь сбежать не только потому, что боюсь их, – просто мне нужно немного собраться с мыслями. А в их присутствии это почти невозможно. Манекены постоянно следят за мной. Подделка их присутствия отменяет подлинность моего. Даже когда их нет рядом, я чувствую

* На колени! (франц.)

их взгляды. Они повисли в воздухе, они блестят в темноте, они сверлят мою спину. Я чувствую, как эти черви вгрызаются в мои плечи, как они заползают между ребер, как обвивают артерии, как сами вены превращаются в червяков и начинают копошиться внутри. Они уже проникли внутрь. Я даже не заметил, как допустил их в свой мозг.

Неужели нельзя извлечь яйцо от скорлупы, кроме как предварительно сварить его, до последнего остатка выскрести белок и желток алюминиевой ложкой – то есть убить яйцо и оставить жизнь лишь скорлупе?

Школа представляет собой систему определенных социальных отношений, основанных на общеобязательных правилах. Школа отменяет игру. Школа принудительно внедряет пассажира в спектакль. Это череда многократных репетиций по заранее спланированному сценарию. Это неустанная атака на психику. Отныне пассажиру придется постоянно взаимодействовать с шумящей и суетливой массой. Цель школы – спрессовать индивидов в функциональный материал. Воображение укрощается спектаклем, сознание становится абсорбированной единицей производительного труда.

Усваивая знания, пассажир не просто ничего не меняет в получаемом материале – ему категорически запрещено вносить малейшие изменения. Предметом изменений выступает он сам, но никак не внушаемые знания – они усваиваются в готовом стандартизированном виде, они едины для всех. Пассажир не обременен потребностью мыслить и экспериментировать. Вместо абсолюта он получает формализованную рутину отрывочных и разрозненных сведений. Он сам становится не более чем жалким обломком, клочком этой стремительно утрачиваемой целостности. Пассажир должен заставить себя сделать важным то, что не представляет никакой важности, поверить в то, во что он не верит.

Любые «странности» в процессе усвоения знаний представляются неуместными и воспринимаются окружающими как постыдные. Любой осмелившийся подать протест против этих табу не просто немедленно будет осмеян – подобные действия наказуемы. Они могут привести к сбою программы.

Главный результат образования – нивелировка таланта, низведение его до статуса специальности. Основными при-

знаками интеллекта постепенно становятся наличие мундира и умение кланяться. Любые способности приносятся в жертву навыку получать награду. Пассажир всё больше начинает нуждаться в том, чтобы быть полезным, испытывает потребность в стимуляции и одобрении со стороны другого. Здесь каждый не упустит возможности показать свое старшинство. Но другими отныне оказываются не только большие, другой – это даже сосед по парте. Школа – это культ власти другого.

Школа обожествляет состязание, до поры не оказывавшее значительного влияния на сознание пассажира. Теперь же соревнование грубо и исторически губительно вторгается в его мир. Условности спектакля всё больше обволакивают жизненное пространство. Спектакль не запрещает иные формы отношений, однако последовательно смещает акцент на нужные ему способы социального поведения. В чувства всё больше начинает проникать ложь, игра вытесняется притворством, честность – умением поддержать разговор, непосредственность – жеманством и кокетством. Несносные пошлости не оставляют никакого места для подлинных эмоций.

Этот период не менее трагичен, чем предшествующие, ведь пассажир со всеми своими внутренними противоречиями начинает казаться фальшивым самому себе. Но теперь ему необходимо признание других, и он старается всё делать так, как нужно. *A communi observantia non est recedendum**. Комильфо уничтожает желание присутствовать. Школа – это первая фаза, подготовительный этап войны.

Уже в самом раннем детстве ребенок испытывает поразительно сильные и сложные эмоциональные переживания, но что удивительно – они почти не сохраняются в его памяти в последующие годы. Прошрое сухой зловещей шелухой отщепляется от прозрачности настоящего.

Мои воспоминания о детстве, едва я пытаюсь хоть как-то систематизировать их, сразу же начинают хаотично смешиваться друг с другом, прятаться от меня. Они моментально теряют

* Нельзя пренебрегать тем, что принято всеми (лат.).

резкость как старое немое кино. Крошечными осколочками они толкутся где-то по закоулкам, а как только я их обнаруживаю – суетятся и норовят удрать, в конце концов снова оседая невидимой пылью. По существу, их нет.

К тому же мне самому никогда не хотелось превращать все эти подобия впечатлений в надгробные эпитафии. Мне повезло: моя память удивительно скупа на подробности. Но иногда кажется, что какие-то сохранившиеся в ее закромах мелочи, какие-то малозначимые детали всё же позволят воссоздать ту утраченную целостность, призрак которой растворился в окружающих предметах. Более того, порой эти обломки неожиданным образом начинают выстраиваться в стройный (и одновременно жутковатый) архитектурный ансамбль. И как раз в тот момент, когда тебе кажется, что строительство завершено, новоявленная Вавилонская башня с грохотом рушится, и ты снова оказываешься погребенным под грудой ее осколков. Но, оправившись от удара, отряхнувшись от пыли, через какое-то время Сизиф вновь начинает конструировать свое прошлое, подметать осколки, собирать камни.

Что удивительно – в памяти, как правило, сохраняются малозначимые, второстепенные воспоминания, а всё существенное редуцируется, вытесняется этими поверхностными впечатлениями. Подлинное будто бы целенаправленно покрывается пеленой Майи, преподносится сознанию в оболочке, предстает в виде зловещего шифра, разгадать который под силу только посвященному.

Так, я помню, что боялся псов. Когда я смотрел им в глаза, то всегда отводил взгляд первым. Я боялся, что они могут разорвать меня на части, а если вдруг я выживу, то навсегда останусь бешеным. Тогда я еще не знал, что мне самому на роду написано превратиться в пса.

Он сидел на автобусной остановке с бутылкой портвейна в руках, время от времени отпивая. И размышлял о том, что неизлечимая, поэтически-одержимая тяга к праздности стала чем-то вроде его особой приметы. Большую часть свободного времени он проводил в бесцельных прогулках по грязным улицам. Он был не из тех, кто торопится, и часто останавливался, чтобы получше рассмотреть окружающие предметы. Нередко в эти минуты раздавался оглушительный рев автомобильных гудков, а он, закрыв глаза, определял музыкальные интервалы между различными тонами клаксонов.

Но это «свободное время» казалось ему жалкой пародией на реально воплощенную свободу. Холодная и нудная скука, сдавленность пространства – вот ощущение, которое ни на секунду не покидало его. Бродя по улицам, он выучил наизусть каждый поворот и перекресток, каждый подъезд и каждую канаву. Он знал, что произойдет на следующий день, через месяц, через год, и эта сгущавшаяся предрешенность была ужасна. Она висела над ним как смертный приговор. Формы, категории, выводы – всё слишком быстро застывало, превращалось в замшелую труху, еще не успев родиться. В маленькой гробообразной комнатке-плаценте, окутанной дымом удручающей тишины, ему казалось, что удушье должно настичь его с минуты на минуту. Его будущее было жалкой отсрочкой его несуществующего настоящего. Жизнь напоминала ему горькую микстуру, которую медленно, по каплям вливали в его горло. Но он никак не мог переварить эти ощущения предрешенности и вынужденности. Они сгущались в невыносимую, физически ощутимую боль. Едкой плесенью, мшистыми лишаями, колючей проволокой они обволакивали сердце, кромсая его в мелкое крошево. Он жаждал познания целостности (вселенской или микрокосмической – он сам не знал какой и никогда не мог найти подходящего определения для этой ноэмы), а абсолют неизменно вручался ему в расколотом виде, по частям, поворачиваясь то одной, то другой стороной, и никогда не представал в истинном обличье. Но он упрямо не желал приближаться к расколотым предметам, осознавая, что это чревато утратой наблюдать их в перспективе. Ему казалось ужасно нелепым обретение субстанции через бесконечное сложение ее модусов.

Не зная, чем занять себя, он частенько присаживался на железные скамьи автобусных остановок с книгой или бу-

тылкой в руках. Чаше – с книгой, ведь он уже тогда начал осознавать, что книги (далеко не все, но многие) принадлежат к миру подлинного. Он брал книгу и погружался внутрь нее, вращался туда, порою по несколько дней не возвращаясь назад. Так в детстве он нырял в огромные насыпи опилок и стружки неподалеку от огромного бетонного забора. Летнее солнце нагревало гигантские барханы до температуры парного молока, и он с головой зарывался в эти теплые кружева. Кудри стружек и песчинки опилок потом по два-три дня оставались в его спутанных косматых волосах.

Его высказывания и поступки всё чаще казались окружающим нарочитыми и резкими, слишком вольными и порожденными больным умом. И ему это нравилось. В одиночестве на него часто находили приступы нарциссизма. Сейчас ему хотелось совершить что-нибудь злое, непристойное – что-то, что заставило бы прохожих в ярости наброситься на него. Но было слишком поздно и в радиусе километра не наблюдалось никаких прохожих. И его злость сменилась сдержанностью, скованностью, усталостью. Он был накрыт стеклянной крышкой мутных небес. Обшарпанные декорации тускло освещенных домов, беспорядочно теснящихся крыш, мостов, вывесок и витрин окружали его словно старая, норвящая обрушиться изгородь.

На фоне темно-серого неба чернели очертания деревьев. Их косматые силуэты отражались в маслянистых, бесформенно расплзшихся по асфальту, подернутых бензиновой пленкой лужах. Над верхушками распускала свои лепестки луна. Чешуйчатый серебристый овал то приближался, то отплывал назад, погружаясь в мутную воду. В этом новолунии было что-то сатанинское. Он просидел так до самого утра.

Когда ночь растаяла, небесная зыбь заклокотала и подернулась солнечной рябью, а на асфальт жидким светом пролилось утро, он совершил неожиданное открытие. Вернее сказать, кому-то оно, быть может, и вовсе не показалось бы открытием, но для него стало таковым. Он дошел до этого самостоятельно: пролетариата не существовало, вернее, все классы, включая правящий, в той или иной степени стали пролетариатом (и одновременно – буржуазией, если угодно; прежние определения потеряли свой смысл). Озлобленные толпы пролетариев, проклиная друг друга, покорно ползли в сторону своих заводов. Какая там диктатура! Они не способны были даже на секунду перестать подсчитывать оставшиеся до полочки дни. Их больше ничего не интере-

совало. Жалостливые, забытые физиономии. Самое смешное, что они, изрядно устав от спектакля, продолжали со всей серьезностью принимать в нем участие. Они не представляли свою жизнь вне привычных условностей. Глядя на невыспанные, бесцветные, словно высеченные из камня лица плетущихся горожан, он подумал, что работа не имеет никакого отношения к настоящей человеческой жизни, и решил, что никогда не будет работать. И, конечно же, ошибался. Ворота завода уже были приоткрыты. Альтернативу им представляли разве что двери казармы. А одна старушка из его подъезда однажды сказала: «Такие, вроде тебя, они не от мира сего. В монастырь тебе надо, а то пропадешь».

С травинкой в зубах шагаю по полю. Иду уничтожать милитаризм, индустриализм и христианство. Фотография старая, черно-белая. Не помню, кто снимал.

Сперва ты удивлялся каждому новому явлению и даже восторгался им, потом ты начал делить все явления на положительные и отрицательные, стремясь преобразовать или, более того, уничтожить все отрицательные. Затем ты осознал, что даже преуменьшить отрицательное невозможно, и пошел с ним на компромисс, всё же сохранив в глубине души остатки добра. Однако в дальнейшем ты неизбежно уделял всё меньше внимания борьбе с отрицательным. Оно начало затапливать твое естество – клетку за клеткой, и, в конце концов, заполнило всё пространство, уничтожив даже воспоминания о дифференциации.

Но не всё так просто. Было и кое-что еще: источник эрозии внутри тебя самого. Дело в том, что когда-то для тебя действительно существовало четкое разделение добра и зла. Ты ясно видел черное и белое. Ты не знал ничего другого. Лишь со временем добро и зло, подобно снегу и саже, стали сливаться в одну неразборчивую смугло-серую массу. Сейчас уже нельзя точно вспомнить тот день, когда добро неожиданно начало обнаруживать примеси зла, а зло порой оказывалось изрядно разбавлено добром. Причем перекрашенное добро обладало некоторыми качествами добра аутентичного, и тогда ты начал сомневаться в правомерности своей прежней классификации. Или тебе только казалось, что явления смешиваются? Был ли ты до конца уверен в

своей правоте? Или всё же источник был не внутри, а снаружи, и кто-то другой намеренно смешивал краски, желал, чтобы параллельные линии пересеклись в твоём сознании? Но зачем ему это было нужно? Ты здорово запутался.

Да, скорлупа была прозрачна только с внешней стороны, изнутри же всегда было темно и зябко. Чтобы хоть как-то согреться, он сворачивался калачиком, со всей силы обхватывая острые колени костлявыми руками. Вроде бы ничего не препятствовало тому, чтобы разбить скорлупу, но что-то подсказывало, что нужный момент еще не пришел. Пока он по-прежнему оставался *in ovo* *.

Тусклые фонари освещали грузное тело завода. Каждый день, едва успевал раздаться будоражащий мозги, пронзительно-неприятный вой гудка, закопченные трубы вновь вздувались толстенными венами, воздух заполнял жирный запах гари, неустанно грохотали станки, скалились гигантские челюсти ворот, ежеминутно выплевывавшие или снова проглатывавшие людей. Люди были одеты в серосиние костюмы, угрюмые, непримечательные. Копашение продолжалось. Ржавый механизм снова приходил в действие, шестеренки злобно вгрызались друг в друга и яростно скрипели. Трубы не переставали дымиться.

Громко шурша целлофаном, он извлекает из упаковки копченую курицу и с хрустом отламывает золотистую ножку. Еще не успев поднести мясо ко рту, он сладострастно причмокивает, как бы подготавливаясь к поглощению пищи. Обед для него священен, он всегда ест ровно в два часа дня – что бы ни случилось. Вытаращив водянисто-липкие глаза, он жадно чавкает, закругляя блестящие от куриного жира губы. Сначала он громко всасывает тугую копченую кожу, обильно увлажняя ее слюной. И только потом, издав несколько вязких причмокиваний, он принимается за мясо. Его подбородок, обтянутый мягким жирком, противно трясется как застоявшийся холодец. С отсутствующим видом он обглаживает косточки до последнего хрящика, после него даже собаке незачем обнохивать их – кости отполированы добела. С та-

* В яйце (лат.).

ким упорством черви объедают трупы. Круглые глаза вращаются с невероятной быстротой и готовы выскочить из орбит, но взгляд мертв – не выражает ничего, даже наслаждения. Ноздри взволнованно сжимаются, вздуваются, как у вставшего на дыбы коня, и белеют, как у покойника. Он сильно потеет – видно, что он затрачивает массу энергии. Влажные блики то и дело вспыхивают на его рябом, покрытом красными пятнами лбу, на который свисают сальные кудри. Во всем этом есть что-то от половых извращений. Особенно когда смотришь на работу его языка: упругого, острого, ежесекундно облизывающего толстые губы и липкие пальцы. Розоватое мясо забивается под нестриженные ногти, и он извлекает его своим огромным языком, засовывая коготь между зубами. Особенно сластолюбиво он обсасывает розоватую подушечку своего правого мизинца. В складках толстых губ сияет куриный жир. Мокрые от пота брови изгибаются и шевелятся как мокрицы. Я не могу поверить, что процесс пожирания курицы может быть настолько трудоемким. Лишь прикончив последний кусок, он удовлетворенно икает и проваливается в сон – прямо здесь же, на засаленном кресле. Расстегнув пуговицу на брюках, чтобы освободить свисающее жабье брюхо, он откидывается на изогнутую спинку. Рыхлый, размякший, бесформенный как желе или студень, он готов растечься по креслу, от этого его удерживают лишь широкие подтяжки, надрывающиеся под давлением мягкой массы изнеженного тела. Я с омерзением ожидаю, пока этот тюлень окончательно сникнет. В таком состоянии он обычно перестает контролировать даже испускание газов. Если я со всей силу пну каблук ему в челюсть, то он наверняка придет в ужас и воспримет этот поступок как ничем не спровоцированную агрессию помешанного маньяка.

Отсутствие воспоминаний никоим образом не высветляет той тени жутких впечатлений, которую сумрак детства отбрасывает на всю последующую жизнь. По-моему, это очевидно и для осознания этого совершенно не обязательно погружаться в бездны психоанализа. Перед моим левым глазом периодически проплывает какая-то слезная паутинка, маленьким дымящимся облаком, тусклым водопадом катаракты она скользит по маслянистой льдинке зрачка. Я провожаю этот призрак в правый уголок глаза, где он и растворяется. В первый раз, когда я увидел этот узор, похожий

на смятый полиэтилен, мне стало ужасно страшно. Мне показалось, что я начинаю слепнуть. Впрочем, потом я привык к нему, и даже пытался разгадать, в какие именно моменты он проступает сквозь водянистую пленку моего глаза. В конце концов я пришел к выводу, что в периодичности его появлений полностью отсутствует логика. Но сумрак поселился в моем глазу навсегда. Я даже не мог разобрать, одинакова ли его форма, или каждый раз он принимал разные позы – тусклый силуэт никак не хотел допустить того, чтобы я хоть сколько-нибудь внимательно разглядел его. И только однажды мне показалось, что я раскрыл эту тайну: его форма напомнила мне позу ребенка, свернувшегося в трубе.

Ее тело немного выгнуто вверх наподобие коромысла. Голова падает с подушки, а из углов губ густой темно-красной гуашью, хрипло клокоча, хлещет кровавый ручей, быстро впитываясь в наволочки и простыни. Ее словно тошнит красным вином. Кровь то льется, то выползает изо рта оборванными темными шматками. Вязкая жижа стекает на паркет и заползает под кровать, нарушая покой тараканов. Насекомые суетливо носятся по полу между хаотично извивающимися излучинами темных лент. Кровь пенится и пузырится. Проходит минута, две, но поток этих бордовых чернил не останавливается. Остекленевшие глаза уставились на меня. Я в ужасе замечаю колоду карт, лежащую на тумбочке рядом с изголовьем. Верхняя карта – пиковая дама. Через секунду я просыпаюсь. Но никак не могу прийти в себя. Мозг никак не покидает холодная новокаиновая сонливость. Новый Каин определенно страдает эдиповым комплексом, но в какой-то странной, малоизученной форме.

Только в закопченных смертью стенах крошащихся трущоб цвета подгоревшего омлета во всей полноте можно ощутить ледяную дрожь помешательства. На старых, будто изъеденных проказой переулках не хватает разве что повозок с лошадьми для полного возвращения в прошлое. В остальном же ничто не изменилось. Этот город, с его мертвым, чахоточным духом, несомненно, обладает неповторимой эстетикой. Яростная тоска, холодный дождь, давящий

серо-желтый тифозный цвет, стук шагов, плеск грязных рек, бородавки куполов, могильный смрад, закопченные проулки, бесформенные лохмотья теней, гниль съеденных временем крыш, иступленное ожидание глобальной катастрофы, мокрый хлесткий ветер, бледное стылое небо. Наверное, я никогда не покину эти грязные переулки.

В какой-то момент он начал чувствовать, что одни тексты имеют отношение к подлинному, а другие нет. Он не всегда мог внятно объяснить почему, но осознавал, что лишь немногие из них без ясно формулируемой причины способны на приближение читателя к миру подлинного, тогда как большинство выглядели в лучшем случае как добротное ремесло, а чаще – как безвкусная подделка. И тогда он ввел новую герменевтическую схему – до смешного простую. Согласно этой схеме, подлинное произведение искусства должно было складываться из трех равновеликих составляющих: он условно назвал их – *эмоциональная, интеллектуальная и техническая*.

Безразличный к священнодействию, я всегда питал слабость к мистике. Именно к области мистического я стал относить многие явления. Одно из них – это появление гения. Гении время от времени встречаются среди людей. Не очень часто, но попадаются. Гения нельзя описать, ему нельзя дать определение, невозможно никак охарактеризовать. Критерия гениальности не существует. Она не вписывается в общепринятые рамки и постигается только на уровне узнавания. Строение мозга, национальность, пол, возраст, жизненный опыт, эрудиция, IQ, образование и социальный статус не имеют никакого значения. Гений далеко не всегда сообразителен, редко бывает общественно полезен. То, что гениальности нельзя дать определения, особенно ценно, только это и способствует ее сохранности. Гении, как правило, совершенно не похожи друг на друга. Единственное, что неотъемлемо присутствует у всякого из них – индивидуальность.

Облаченное в темную накидку, небольшого роста существо, похожее на маленького ребенка, максимум на школьницу... она вызвала у меня потрясение. Длинные темные волосы скрывали по-детски хитрый и одновременно грустно-задумчивый и патологически скорбный взгляд. Ее ко-

роткие рассказы мне понравились, но впечатлили позже, уже после песен и стихов. Я всегда отличался заторможенной реакцией, но в этом случае необходимо было личное знакомство с автором. Песни были ненормально необычны и абсолютно неуправляемы логикой. Когда оказываешься перед таким явлением, первое, что приходит в голову, – провести параллели, не всегда нелепые, но, как правило, не приближающие ни на шаг к пониманию услышанного. Это своего рода самозащита от столкновения лицом к лицу с чем-то совершенно новым, абсолютно самобытным. Но на самом деле внутри меня сразу родилась ни на чем не основанная уверенность, что этот человек способен сотворить всё, что угодно, всё, что захочет сотворить. С этим не будет никаких трудностей. Я сразу увидел это.

Когда я спросил, может ли она перевоплощаться, она быстро вытащила из сумки конверт и одну за другой стала доставать свои фотографии, дополняя их лаконичными комментариями: «без бровей», «прыгает с лестницы», «гном». Последним, что она извлекла, была визитная карточка какого-то скульптора, ее знакомого. На тонкой прямоугольной картонке – адрес мастерской, она попросила направить визитку на свет и перевернуть вверх ногами: «Некоторые слова можно прочесть только так». Сквозь неплотную бумагу мне открылся таинственный палимпсест, что-то вроде *лохи ебушие*, точно не помню. После этого она, захлебываясь мягким смехом, стала пересказывать собственный сценарий для художественного фильма, который занимал ее уже дня два, в киносценарии фигурировали молодая девушка, бешеная собака, труп божья и корова.

Ее робкое пение было завораживающим и абсолютно алогичным с профессиональной точки зрения. При этом о своих вокальных способностях она отзывалась крайне скромно, объясняя, что все ее знакомые отличались хорошим вкусом в музыке, а она вроде как случайно петь стала.

Ее поэзия, внешне столь беззаботная и светлая, вызвала у меня неопишуемый ужас. Она – как пламя свечи, которое через секунду должно потухнуть, но никак не потухает. В этом пламени есть что-то неловкое, жалкое, беспокойное, безумное. Собственно, она и сама говорила, что видит мало светлого в своих стихах. Это сложно объяснить, но в ее невинных, сбивчивых рифмах было что-то жуткое, зловещее, спрятанное очень глубоко. И при этом *притягательно* жуткое. Всё, что она создавала, она создавала так, как будто ни

до нее, ни после не существовало и не могло существовать всей мировой литературы, музыки, живописи, бог весть чего еще, чем ей захотелось бы заниматься. Она как дикий ребенок не задумывалась о ценности того, что делает. Она никогда не доводила до конца ни одного из своих начинаний. Но обладала детской способностью быть счастливой.

Бунт всегда занимал меня больше, чем революция. Когда бунт перерастает в революцию, становится скучно. В этот момент уже заметно, что вот-вот, со дня на день всё перетасуется и займет свое место на полке, чтобы снова собирать пыль. Мне интересен только момент сдувания пыли.

Если твой ребенок когда-нибудь и принадлежит тебе, то только до его рождения. С момента появления на свет он уже не может считаться твоим. Он не просто не является твоей собственностью, наоборот – отныне он всё больше отчуждается от тебя. Он автономен. Это неизбежно и единственно верно, но, тем не менее, нельзя не осознавать трагизм этого.

Ястреб заперт в похотливый кильдим
серебряной клетки своевольного плена.
Но заперт племени плеткой.
Плюется в зеркало,
клюет клетку,
топчется, как попугай пустоголовый.
Лишь изредка
златые искры очами мечет пустовоитель,
и слегка плавятся прутья.
А ястреб не замечает,
плюется на третище,
в трубуху водворяясь, вошь восхуляя.
В прах вхожий...

В кандалы обутый, далеко ль собрался?
Прямо на небо?
Это ночью то?

Что ж, видать, если надобно – они и кровью потчуют...
А узрел ли ты вечной ночью
воочию
наручни порочные на поручнях причинных
пророчества Отчего?
«Прочь» кричи по ночам им!
Прочь!

Влас вещею томления
до срока ниспадает
на хмурый морщинистый морок рока,
боль прядет из волокон-клоков.
Упрямым червем
Всверливается в самое нутро смятенного сознания –
мокрого морока.
Чингалы молний рассекают его на части,
но он и не думает сгинуть,
лишь множится, словно житом брошенный;
молнии молоды, а червь стар.
Червь вечен.
Что ему марево? Что ему смерть?
Очередное испытание.
Испытание исповедью.
Исподлобья, исподволь
истиной рыскать.
Заповедная пытка.

Прошипели сумерки рассветные заутреню...
Прощай.

Игнатий умер во вторник. Звонил мне с утра, хотел зай-
ти, а мне всё некогда было, минут пять поговорили... На
выходные встречу перенесли. Я только в четверг узнал. На
выходных как раз похороны и были, в субботу.

**Загляни еще раз мне в глаза,
Вот кем был я.
А теперь держи нож, отрезай
Мои крылья..**

Осмыслить подлинное можно, лишь утратив его, почувствовав собственную искусственность. Осознать смысл подлинного можно, только сделавшись другим. Знание о подлинном означает твою поддельность. Подлинное не может осознавать собственной подлинности.

снег. снег во рту и в глазах. снег в руке. откуда это постоянное ощущение удушья? я завернут в простыню пепельного снега. что это, всё еще кокон? или что-то еще? неужели саван? а я даже не успел ощутить разницы между тогдашним и нынешним положением. а была ли разница? могильный крест представляет собой точную увеличенную копию нательного. так стоит ли тратить силы на его изготовление? ведь на детскую могилку можно водрузить и маленький крестик, снятый с шеи мертвого ребенка. для того, чтобы засыпать могилку землей хватит небольшой лопатки, забытой в песочнице. совсем маленькой – даже меньше, чем саперная. да и сам гробик своим размером не сильно отличается от спичечного коробка. в таком случае ограду можно сделать из спичек. а если их поджечь, то на снегу останется лишь крошечное черненькое пятнышко. такие бывают, когда окурком прожигают простыню. и уже через час эта рана затянется новым белым слоем. я заклеиваю скотчем рваные раны на своей коже. под снегом гниет листва. гниет листва. погружаться в снег, но всегда выходить обратно. впрочем, есть риск не вернуться и слиться с листвой. и это еще больше притягивает. но я всегда возвращаюсь. научился. для этого мне не нужна золотая ветвь. я сам выдумал возвращение. я никогда не хотел быть серьезным. впрочем, и весельчака из меня не вышло. смех всегда застревал в моем горле и выходил наружу вперемешку со сдавленным кашлем и пенящейся кровью. я не курю. откуда же дым? это липкие сумерки свисают засаленной шевелюрой над отполированным гробом. они опять склонились надо мной. я вижу судороги их улыбок. я еще помню их. смутно, но помню. кто они? сложно сказать. да и стоит ли пытаться выяснять? они распадаются на какие-то воспоминания. иногда мне кажется, что когда-то я видел их на тех потрескавшихся слайдах из семейного альбома. я не помню, кто они, не помню, чего они хотят, но их самих я никогда не забывал. эти бледно-желтые предметы их лиц.

пожухлые лица – тоже часть декораций? или эти жалкие манекены с затянутыми тонким льдом глазницами и есть действующие лица? почему они так рвутся на мои похороны? хотят удостовериться, что меня больше нет среди них? каждый раз это повторяется. и каждый раз я обманываю их. перекусил снегом. то, что надо. холодным хрустящим снегом. то, что надо. утер кровь уголком савана. они подумают, что это губная помада. и я не стану их переубеждать. пусть думают, что я целовал снег. эта белая холодная материя всегда казалась мне похожей на плащаницу, способную навеки (учитывая нашу вечную мерзлоту) сохранить мой след. они сочтут это чужаковатым и странным, но не настолько, чтобы считать меня безумным. они не догадаются. они ничего не заподозрят. а я именно этого и добиваюсь. сижу в темноте на заледеневшем бордюре клумбы. лицо рассечено осколком льда. пограничник. я пограничник. нет, не в смысле охранника. не сторожевой пес, а дверь. мне всегда нравилось проходить сквозь экран. я на меже. на дискотеку. нужно что-то максимально лишённое смысла. мне туда. летом они называют это клумбой. зимой – это дискотека. пляски мертвых цветов. они не сразу заметны. но мертвые цветы пляшут повсюду – даже на стеклах автобуса. даже на зеркалах. в зеркалах, пожалуй, чаще, чем где бы то ни было. темнота и грохот. а через секунду – мертвая тишина. наверное, что-то подобное может ощущать оглушённый солдат в перерывах между разрывами: какое-то мгновение отголоски громовых раскатов тают, но их тут же сменяет абсолютная глухота, бездыханная тишина. всё плывет перед глазами, затягивается слезящейся дымкой и замирает в хрустальном головокружении. между речью. не речь, но и не молчание. скорее – тишина на перекрестке криков. я еще там, еще там. еще не проснулся. еще не проснулся. иногда мне кажется, что там интереснее. последнее время – всё чаще и чаще. я не хочу возвращаться в мягкость ватного мира. инородное солнце. стеклянная кровь небес не принимает его. только позже я пойму, что скрип дверных петель – это мой любимый звук. пусть он и жуток. строго говоря, я осознаю, что мое раздвоение никогда не являлось дихотомией в ее истинном понимании, ведь мне всегда нравилось балансировать на грани безумия и рассудительности, между хаосом помешательства и царством чистого разума. контроль над бессознательным я ценил не менее чем контроль над оболочкой. только так можно про-

должать поиск. талант заключается не только в умении придумать, а еще и в умении воплотить придуманное. так что без катехизиса революционера обойтись не удастся. в голове – темнота и грохот. уже возвращаюсь. уже возвращаюсь. вспышки бьют в глаза. ощущаю всю гнусность и весь ужас пробуждения. дверь не захлопывается, она раскачивается на скрипучих петлях, попеременно оказываясь то здесь, то по ту сторону. неужели я говорил, что этот мерзкий звук мне нравится? если ветер прекратится, то она остановится. иногда мне этого хочется. лучше бы застыла по ту сторону. но порывы ветра лишь нарастают. ветер застрял в дверном проеме. в черепной трещине. летом клумба оттает. серая корка расколется, как тонкая глазурь на тающем фруктовом мороженом, и обнажит яркий орнамент. но я никогда не видел ее летом. она существует только зимой. а в этой части земного шара зима никогда не заканчивается. конечно, я выдумал возвращение. оно невозможно. я давно закопан в снегу, на ледяном надгробии уже стерлись следы эпитафии. наверное, никакой эпитафии и не было. отсутствовали даже сведения о рождении и смерти. но в остальном холодное надгробие, изъеденное выбоинами, трещинами и мутными разводами, было точной копией величественных мраморных обелисков. так же, как и замшелый крест из мерзлого теста, осыпанный пепельной чешуей снежных лепестков. издалека всё это могло сойти за подлинное, как и моя никчемная жизнь. а может быть, я выдумал и снег? отравленные цветы постоянно ощущают страх свободы. им не хочется ни плясать, ни спать на старых красных креслах, обтянутых искусственной кожей. ну, вы наверняка понимаете, о чем я. такие еще можно отыскать в заброшенных каморках при актовых залах. они кое-где еще остались. еще не модернизированы, не загримированы. как правило, кожа на них истерта, изрезана перочинными ножиками и испещрена узорочьем непристойных надписей. безмолвные свидетели мертвых плясок. танцы манекенов. они медленно двигаются в лучах стробоскопа. темнота и грохот. их искусственная кожа тоже местами поизносилась и ободрана. раны заклеены скотчем. даже губная помада смазалась на их истертых физиономиях. спрятаться в туалете. укрыться от фальшивых ядовитых улыбок. от брызг нравственной кислоты. от блестящих гноящихся желтых глаз. от пластика и стекла. ото льда витрины. от самих манекенов. сжечь. сжечь все, что есть. я

всегда любил пожары. преклонялся перед их непорочным величием, как перед чистотою взбунтовавшегося архангела. ему даже казалось, что имя, которого ему так и не дали, этимологически должно было быть связано со словом *огонь*, или вообще они могли происходить от одного и того же корня. *ad igne ignem**. но ледяное стекло не горит. оно только трескается, раскалывается и осколки креста – кусочки оледенелого теста еще больше вгрызаются под кожу, как клещи, обнажая кровавый орнамент. становится только хуже. манекены любят дарить друг другу искусственные цветы. они рвут их на заледенелой клумбе. маленькие знаки внимания. спрятаться в туалете. спрятаться от всего этого. за маленькой дверцей. за ней – мост. а потом – через заснеженное поле к замку. замок то приближается, то снова отстраняется к горизонту. домой. домой. но почему, почему я называю это место домом? это же неправда. видимо я бессознательно наслаиваю одни понятия на другие, но сейчас некогда разбираться, совсем некогда разбираться, нужно поторопиться. всегда нужно торопиться. вдали огни. но замок неприступен. нужно знать тайный ход. нужно знать тайный код. я никогда не знал. а если шифр утрачен, то чем тайнопись отличается от бреда? во что превращаются в таком случае все эти знаки, шифры, аббревиатуры и символы? где тот посвященный, что снимет заклятие с мистического смысла, заколдованного в этих буквах и словах? я не знаю. я никогда ничего не знал. никогда не хотел быть серьезным. так могу ли я считаться посвященным? что дозволило мне именоваться таковым? нет, я был посвящен, просто со временем тавро стерлось, и теперь это уже невозможно доказать. но теперь я уверен: там, за этой дверцей, тоже никого не было. если бы я существовал, я убедительно смог бы доказать это. кроме манекенов, больше никого и не могло быть. манекены повсюду. их застывшие лица вновь склонились надо мной. три дня в могиле. подкожные клещи расколотого распятия. все три дня как один. вечный балет в преддверии воскресения. толчея, падающие люди. танцоры издыхают под вспышками стробоскопов. их ледяные надгробья окаймлены вязью искусственных роз – дымом изморози. танцоры – это товар. расходный материал. но товар, который не подлежит продаже. манекены на витрине – это товар ради товара. его высшая, совершенная форма. актеры, ставшие частью реквизита. танцоры прова-

* Огонь от огня (лат.).

ливаются в снег. уходят. сменяют друг друга. они рады этому. они счастливы. это их призвание. джаз. мне приходит в голову джаз. мой выход. грим прилип к лицу. проклятое тесто! его уже невозможно отодрать! смятая маска лица. оледенело не только стекло витрины, оледенела и сама моя кожа. я тоже заражен. я тоже издыхаю. таковы незабываемые правила спектакля. оболочка слишком близка к миру искусственного, ее использование не может пройти безболезненно. теперь и у меня тоже искусственная кожа. нарумяненный эпидермис. ледяная кора. под ней – дерево. без корней и ветвей. только оледенелый крест гнилого ствола. из него пытаются вырваться пули. до срока им мешает кора. но она сгниет. и тогда на ней появятся рваные раны. я жду. скорее бы. я засек время. засек его розгами начала. я смотрю, как оно истекает густой черной кровью. замороженным ниагарским водопадом, застывшем в хрустальном безмолвии. нескончаемым потоком слез. смогу ли я контролировать это ледяное кровотечение? но истекает время, а лед моей кожи не тает. даже капли замерзают прямо в полете. холод – это аксиома. но он только снаружи. под оболочкой кровь уже готова к тому, чтобы закипеть. а что по ту сторону? суетливые силуэты. прохожие могут любоваться ничем, но не способны любить его. отвращение и страх неизбежно одерживают верх над жалостью. я в лодке оледеневшей клумбы. держу курс на горизонт. к неприступному замку. гребу отрубленной ногой манекена. плеткой из искусственных цветов стегаю воздух. они намного долговечнее, чем живые, а ведь издалека ничем не отличаются. для большей убедительности следует ежедневно менять им воду. и тогда только вблизи возможно будет почувствовать разницу. но если ты близорук, то даже вблизи не заметишь. они почти идентичны. почти. разумеется, если ты когда-нибудь видел живые. ну конечно, я издеваюсь, где ты мог их увидеть? не обижайся, я ведь без злобы. не обижайся. прости. я гуляю по этому полю и сплетаю из них кладбищенские венки. я уже другой? предположим. курсы танцев. дискотека. мертвые пляски в ливне стробоскоповых искр. цветы танцуют вместе с манекенами. танцуют на витрине. им дозволили танцевать. они рады. маленький ребенок с кладбищенским веночком на голове резвится в оледеневшей клумбе. это его манеж. это его клеть. я отрубил себе ноги. чтоб неповадно было. меня всегда мучил один вопрос, только один вопрос – зачем манекену ноги?

манекен статичен, нижние конечности в его случае – элемент побочный, избыточный, призванный без следа исчезнуть рудимент. и потому я решил заблаговременно подготовиться. а в связи с тем, что я никогда не доверял медикам, ампутацию пришлось осуществить своими силами. события стремительно наслаиваются друг на друга. прогрессия. кажется, это так называется. по-моему, так. может быть, что-то путаю. вполне может быть. я и не отрицаю. в любом случае название удивительно нелепо. чем-чем, а прогрессом это уж точно не является. во всяком случае, в его подлинном значении. манекен – вот что мне уготовлено. балет. пятое падение за минуту. а зачем подниматься? зачем подниматься? умирать пять раз в минуту. под вспышками стробоскопа. приблизительно – каждые двенадцать секунд. опять это число. двенадцать часов на циферблате, двенадцать апостолов, день, когда мне исполнилось двенадцать лет. сквозь свои сны я слышу детство. мой самый страшный кошмар – это голос мамы из темноты. эти осколки воспоминаний по-прежнему режут мою память. они хрупки и непрочны, но абсолютно неотвязны. я даже не слышу, что именно она говорит, просто знаю, что это ее голос. и от этого кружится голова, виски леденеют, подкашиваются ноги, а к горлу подступает тошнота. она неразборчиво шепчет и сквозь темноту тянет ко мне свои мокрые руки. и вот-вот прикоснется. мне хочется вжаться в стену. в ее руках – засаленная игральная карта. дама пик. она говорит, что это смерть. мне хочется исчезнуть. мне хочется, чтобы всё прекратилось. это даже страшнее, чем псы. псы – ерунда, к ним я уже почти привык. это намного страшнее. пиковая дама. поставьте точный диагноз. скорее. я жду. жарко. нет, холодно. нет, всё же жарко. молодая. как на тех старых немых кинолентах. нет, всё же старая. нет, наоборот. я ее не знаю. я никогда ее не знал. а она почему-то уверена, что знает меня. отстаньте от меня! отстаньте! прочь отсюда! прочь! вон! зеркало. она в разбитом зеркале. я узнал ее силуэт. прячется между мертвых цветов. я – это она. в нутре – колючая проволока матери мира. я по-прежнему заключен внутри мыльного пузыря. я задыхаюсь от дыма, которым он наполнен. меня постоянно преследуют эти видения. казалось бы – что мне стоит вырваться отсюда? нет. крик. я слышу детский крик. снег. снег гниет во рту. опять этот снег. кто набил его мне в рот? кто залепил им мои глаза? мама? нет, не она. тогда кто же? нет, я ем снег добровольно.

ем гнилой снег для того, чтобы прогнать жар, чтобы немного охладиться, остыть. это не я кричал. кто-то другой. кто-то другой. но он копировал меня. весьма убедительно. браво! аплодисменты! овации! копия сейчас пользуется гораздо большим успехом, чем оригинал. она понятнее, она логичнее, она объяснимее, она роднее. подделка – самое дорогое, что у нас есть. что-то, с чем нельзя расстаться. без подделки жизнь сойдет с рельс. а подлинное... это лишь фикция. оно бессмысленно, тем более что его давно уже не существует. ведь мы сами – подделка. нет, это я кричал. просто я кричал в мегафон, и со стороны мой голос был похож на чужой. старый смятый мегафон чудовищно коверкает тембр. делает голос искореженным, бесчувственным, крадет у него индивидуальность. внутренняя арматура начала переплетаться со ржавой решеткой снаружи. плоть почти не способна препятствовать их воссоединению. может быть, это и есть возвращение? но я продолжаю кричать, хотя бы только для того, чтобы слышать собственный крик. и в какой-то момент я с ужасом осознаю, что перестал его слышать. как тот солдат после взрыва. все звуки сливаются для него в полную тишину. полный рот снега. мне становится холодно. я уже жду, когда же он начнет таять. но этого не происходит. плоть настолько охладела, что снег скорее оледенеет, чем превратится в воду. и этот кусок льда навсегда застрянет холодным кляпом между моих посиневших губ. наверное, снег уже начал леденеть. поэтому я и не слышу крик. поэтому я всё хуже и хуже вижу. белки глаз тоже промерзают. и кто-то хочет вырвать мои глаза, пока они еще не вконец оледенели. пока не поздно. кто-то яростно желает изготовить яичницу из моих глаз. слышите, как шкворчат желтки зрачков? с похожим звуком шипит под иглой старая пластинка. палач выбрал изысканный способ ослепления. игла бороздит виниловые вены зрачка. опять к замку. но у меня же нет ключа. обесключен. выключен. ни бьющего ключа, ни уключины. траля-ля! обезноженный нож. и еще обезглажен в придачу. слеп. а в довершение всего – обезглавлен. второй роман обезглавлен. в нем не может быть глав. он обезглавлен мною. он был приостановлен на время. заморожен. как цветок. и время остановилось. скверно. очень скверно. никаких глав. только обрывки. настолько бессвязные, что даже нет нужды начинать каждый из них с новой страницы. но настолько взаимозависимые, что невозможно воспринять их по частям. эти разрознен-

ные фрагменты упрямо цепляются друг за друга, словно бояться окончательного распада. или уже не цепляются? обрывки моих не отравленных писем. их так мало осталось – тех, что без яда. и скоро даже они будут порваны. три дня смешались. не помню. я их не помню. как и собственного воскресения. наверняка, его и не было. наверняка, оно выдуманно. темнота и грохот. кричать запрещено. крик нарушает спокойствие. бежать. нужно бежать отсюда. по стеклу шаркает метель. некуда бежать. некуда. что может быть страшнее, чем детство??? сбежать от него невозможно. младенцы в целлофановых пакетах. я один из них. темнота и грохот. зловещий шепот матери. и удары. тяжелые удары. они раскалывают череп как яйцо. удары ключа. удары повалили меня наземь. играет веселая музыка. кто-то пинает меня ногами. иные сдавили мне горло. они душат меня как резиновую куклу. их много. их очень много. одеты в куртки цвета хаки. офицеры. у них искусственная кожа. у них желтые глаза. это те, что склонились над гробом. помните? я о них уже упоминал. рассказывал о мертвой ткани их кожи. они звенят цепями. их двенадцать. они по-прежнему здесь. снова маски их лиц. они не покидали меня ни на секунду. да их лица очень похожи, и они сильно напоминают мое. а их губы нашептывают мое имя. то, которое мне должны были дать, но так и не дали. меня слепит сияние их нимбов. мерзавцы! хотят убедиться, что я действительно мертв. и в этот раз их уже не обманешь, ведь у меня больше нет алиби. клеймо не отмыть. ни алиби, ни либидо. приговор не подлежит обжалованию. выражения их гадких лиц напоминают гримасы лютецианских уродцев. закроешь веки – а их мерзкие зрачки все мерцают в темноте, как осколки в бархатном желе. я вижу бледно-глянцевую опухоль на их пожухлых руках. и они тянут свои руки ко мне. десятки извивающихся, как змеи, рук. они протягивают мне диадему из колючей проволоки. толпа требует казни. у старшего (того, что раскрашен губной помадой) в руке мегафон. он что-то кричит в него, видимо отдает какие-то приказы. у остальных в руках лопаты, они роют ими мерзлый грунт, выворачивают землю наизнанку, рассекая почву на мертвые куски. и меня бросают туда – под землю. да, да, прямо туда. они хотят, чтобы я им поверил. они хотят, чтобы я поверил в свою смерть. но я упрямо отказываюсь в нее верить. как я могу признать смерть, если я не верю в рождение? в темноте слышно злобное шипение. это кто-то молится. черная

свеча отбрасывает извивающуюся грязную тень на обтянутую паутиной икону. в ней что-то не так. при вспышках бледных молний я замечаю: икона без лика. в какой-то момент всё исчезает. я опять ем снег. гнилой снег. то, что надо. в последний раз поцеловал холодную вату, словно подол моей бессмертной святой. как трепещущее крыло траурницы. той, что тихонько плакала в уголке в момент крещения. и снова провалился. ледяной кляп возвращается. лопаты. руки. зловещий шепот матери. всё расслаивается. нелепые и ужасные воспоминания. непрерывная истерия страха. контрольный выстрел в голову великана. белая от снега плащаница. белоснежная плащаница. белая, словно крылья архангела. колючая метель седины на моих щеках. колючая проволока в груди. через отверстие в голове просачивается пар. это выкипает кровь. капля за каплей. вытекает сердце. нет людей. совсем нет людей. никогда не было. никогда не было. и меня тоже не существовало. сумеречная метель. мне нужна бритва. гильотина, чтобы отрубить продырявленный череп. бритва весны. мне нужен орнамент. мне нужна окровавленная роза. нужно взрастить ее, пока еще не вся кровь выкипела. петь, хочется петь. смешно. это безумно смешно. нужно воскресить крик. прямо сейчас. лицо идиота. нет, веселой собаки. еще дыхание. нужно выплюнуть кляп. нужно дышать. под землей нет воздуха. наружу. давно пора наружу. время распрямлять плечи. время рвать сухожилия. время отрубать головы куклам. время сбрасывать старую кожу. время примерить красную корону. и я пою с закрытыми глазами.

Заржавевшая старая шестеренка внутри железной коробочки не вращалась. Оловянному мальчику стоило больших усилий привести ее в движение. Но когда шестеренка завертелась, то из железного ящичка посыпались золотые искры. Вспыхнув всего лишь на миг, они привели оловянного человечка в неопишуемый восторг. В эту секунду пыльная мастерская исчезла. Окружающие предметы ожили и слились в неистовом танце, поражающем разнообразием поз и движений. А когда вспышка угасла, мальчик обнаружил под ногами горстку золотистого песка. Оловянный человечек что-то слышал об алхимии, и решил, что ему удалось отыскать философский камень. И тогда ему захотелось засыпать сверкающими огненными искрами всю закопченную грязью мастерскую. Он снова чирк-

нул шестеренкой, и новая россыпь золота упала на припорошенный пылью дощатый пол. Никогда еще оловянный мальчик не испытывал такого ликования, ему захотелось вновь и вновь переживать эту дрожь восторга. Фейерверк искр превращал холодную мастерскую в праздничный терем, всё вокруг воскресало, причудливые тени танцевали на стенах, огненные птицы присаживались на пыльные стеллажи и превращались в факелы, розы распускались на ржавых надгробиях столярных ящичков, тревожная музыка сотрясала старые железные дверцы и вылетала наружу через форточку, золотистые искры сплетались в пышный ворсистый ковер. Магия танца окутала всё пространство сотворенного универсума.

Наутро хозяин мастерской обнаружил на месте сарая лишь обугленные доски и золу. Видать, в старой зажигалке еще оставалось немного бензина. Никто так и не узнал, что привиделось в ту ночь оловянному мальчику. Лишь несколько часов над раздробленной радугой еще клубилась золотая пыльца.

Еще одна луна
Проливает на пол свой
Свет, так и не успев
Донести
На меня.
Прожевывай поощрения,
Внимай увещаниям
Очередного чревостяжателя духа.
Безразличная неуверенность
В собственном существовании,
В потребности голоса,
Наличии дыхания.
Мы одной пули яблоки,
Однократно прострелены.
Порвалась колея руки,
Зачервивела венами.
Еще одна луна
Проливает на пол свой
Свет, так и не успев
Донести

На меня.
Зачервивела.

Пауза.

– Присаживайтесь, пожалуйста... Присаживайтесь, пожалуйста!

– Благодарю вас.

Стук печатной машинки. Смех.

– Сарись! Сарись! Сарись! Сарись, сарись, сарись... Сарись...

Скрип стула. На сковороде жарится яичница. Кто-то гремит деревянными счетами. Скрип ножниц.

Мне ни за что платить не надо, за меня всё уже заплатили. Всё уплочено. И я не переживаю ни о чем. Ведь как удобно, когда ни за что не надо платить! По существу, это очень удобно... Ведь когда ни за что платить не надо, то во мне... Во мне нет волнения... Волненья нет... Оно *фьють* – и исчезло! А я... Я не жалею ни о чем... Ведь как удобно это, когда ни за что не надо платить! Ведь это, это же нет... Ни волнений нет, никаких ни переживаний, ничего этого нет, всё это исчезает... И ведь главное – это же... **ЛЯЖКИ!** Главное – ведь нужны какие-то нам, нужны элементарные какие-то... Нужны удобства... Какие-то удобства... Как... Чтобы всем, каждому было удобно... **Она мне, она мне говорит: ляжки-ляжки!** Вот даже – вот не всем, а, пожалуйста, каждому вот – чтоб по отдельности было удобно... И это... **Она мне, она мне говорит: ляжки. Ляжки, она мне говорит.** Тогда не будет ни волнений, ни переживаний, никаких душевных передрыг, – вся эта заскорузлость она исчезнет, она пропадет... **Сука такая. Сволочь.** И вы зря, кстати, вы зря усмехаетесь, зря вы мне не верите... **Ляжки, она мне говорит.** Ведь это всё так и есть... **Я вообще не понимаю: ну, какие могут быть у нее ляжки? Она мне, она мне говорит: ляжки-ляжки! ЛЯЖКИ!** Тише, тише, господа, вы же в театре, ей-богу! (*Грохот приближающегося поезда*) **Чемодан, огромный кожаный чемодан (голос из мегафона). Триста ляжек**

в чемодан убрать... Его кто-то тут оставил. Она мне... Его кто-то забыл тут. Она мне говорит: ляжки-ляжки... Может быть, это был ты? Ляжки... Она мне говорит... Я чемодан. Триста ляжек... Да я ее даже и не трогал-то даже ни разу... В сущности, я чемодан. Она мне говорит ляжки-ляжки... Триста ляжек – в чемодан убрать. Она мне говорит... Кожаный, кожаный, черный. Уважаемые пассажиры (голос торговца)! Че-мо-дан. Вашему вниманию предлагается фашизм. Огромный кожаный чемодан. Сволочь такая. Она мне говорит: триста ляжек убрать в чемодан. Кто-то его тут оставил. Кто-то забыл его здесь. Недорого предлагается фашизм. А за что я должен-то убрать триста ляжек-то в чемодан-то? В сущности, это я чемодан. Обыкновенный... Она мне говорит... Триста ляжек убрать в чемодан... Ляжки-ляжки... Кожаный, черный. Дело в том, что он мне совершенно не нужен, и я хотел бы вам его продать. А что у вас в чемодане? Ну-ка, покажите, быстро! Быстро покажите мне, что у вас в чемодане! Ляжки, она мне говорит: триста ляжек. Фа-а-шизм! Недорого! Кому? Она мне говорит: ляжки-ляжки! А, там ляжки! Ляжки, кожаные, черные, в чемодане у вас! Кому недорого фашизм обыкновенный?! А как они там появились?! Сука! Недорого фашизм кому? Она мне говорит: ляжки... А почему я должен платить? Самый обыкновенный фашизм! А кто вообще сказал, что я должен платить? Недорого! Кому фашизм? Это безобразие! Это фашизм! Она мне говорит: ляжки, ляжки... Почему я должен платить? Фа-а-ши-изм, недорого! Гражданочка! Гражданочка! Вы себе там запишите в протокол! Нет, тут всё записано! Посмотри сам! Фа-а-шизм! Это фашизм, самый обыкновенный... Не желаете? Я платить не буду! Ты мне тут черта в чемодане не строй тут! Кому недорого фашизм? Фашизм недорого кому? Кому недорого фашизм? Хи-хи-хи-ха-ха-а-а-а! Хи-хи-хи-ха-ха-а-а-а! (смех сумасшедшей дворничихи, стреляющей из пневматической винтовки по застывшим под потолком воздушным шарам). Мы просто, мы просто ищейки! У меня было тридцать женщин... Мы просто ищейки! Ищейки! Какая сумма при себе? Ищыба. Мы просто, мы просто ищейки! А если найду? Ищейки! Ищейки! Ищейки! У меня было трид-

цать женщин... Ищыба. Ищыба. Мы просто... **Чего изво-
лите-с? Какая сумма при себе?** Мы просто ишейки! Мы
просто... Ищыба. Ищи! Ищи! Ищи! **Гей-видео не интере-
сует? Триста ляжек убрать в чемодан...** Гражданоч-
ка! **Кожаный черный чемоданище!** Фа-а-шизм недорого
КОМУ?! **Кожаный черный чемодан. На пол! На пол, все!
На пол, мышшь! На пол, мышшь!**

*Все голоса сливаются в единый неразборчивый гул, сквозь кото-
рый пробивается мелодия «Nobody home». Грохот шагов убега-
ющего человека. Шум со скрипом захлопывающейся двери. Толпа
заражается бегом, но постепенно он переходит в танец. Бомжи
сбрасывают лохмотья и становятся танцевальной группой,
наряженной в яркие одежды. Дискотечные ритмы. Стробоскоп.*

*Игрушечные
клоуны вер-
тятся над
детской кро-
ваткой. Голый
человек на кам-
нях, свернув-
шийся в позу
эмбриона. Рука
сжимает яйцо,
и оно взрыва-
ется кровью.
Копыщащиеся
скорпионы.
Вьетнамс-
кие солдаты
пытаются
маршировать
в ногу. Яич-
ный желток
выливается на
экран телеви-
зора.*

Посрамление несовершенством.
Поругание стремительным страхом.
Тонкая корка рассудка,
Сна холеная мякоть.
Яичный желток Солнца
Растекается по экрану.
Провожаящие, время вышло!
Не может быть, еще слишком рано...

**Эстрадное
пение:**

расколоты многоточия,
расколоты многоточия,
ты, я,
ты, я.
болью смолоты в клочья,
болью смолоты в клочья.

Католический хор: Повис нерв, повис нерв. Повис нерв, повис нерв. *Non serviam**. Повис нерв, повис нерв. Повис нерв, повис нерв.

Колокольный звон.

Голос священника: Во имя Овцы, Тины и Слепаго Уха. Во имя Овцы, Тины и Слепаго Уха. Во имя Овцы, Тины и Слепаго Уха. Гони.

Легкомысленное пение: Огненной иглой
падаю в твердь,
тетивой гнилой
повис нерв.
Огненной иглой
падаю в твердь,
тетивой гнилой
повис нерв.

Соло на виброфоне. Жесткие гитарные рифы.

отблеском ножа выслепляя взор,
заплетают ливни стальной узор,
из разжатого ветхого кулака
вниз трухою сыплются облака.

Благопристойностью
Зашнурован мозг,
Немой безвольностью
Оцифрован в лоск.

*Танцующие хиппи. Боксеры на ринге.
Женщины-дискоболы. Балерины.*

* Не буду служить (лат.).

Прелой падалью
Выгнивает взгляд
В ожидании
вызревших утрат.
Прелой падалью
Выгнивает взгляд
В ожидании
вызревших утрат.
вызревших утрат.
вызревших утрат.
вызревших утрат.

Тусклый синий свет.

**Он, собака, пьет год без месяца.
Утром мается, к ночи бесится.
Да не в первой ему, оклемается...
Перебесится... да перемается...
Перемается... да перебесится...
И Бог даст, Бог даст – не повесится.**

*Синий свет из сумрачно-смузлого становится ослепляюще ярким.
Стробоскоп. Продолжительные танцы.*

Холодный голос: Страница двадцать шесть, упражнения с пятого по восьмое.

Пulsирующий красный свет.

Шепелявый голос идиота: Здравствуйте!

*Пение в стиле dead metal. Скрежет гитар. Какофония переходит
в русские фольклорные напевы.*

**Встану не благословясь,
Не в чисто поле, а в темный лес,
Не воротами, а собачьими тропами.
Встану не благословясь,
Пойду не перекрестясь,
Не воротами – тараканьими тропами.
Встану не благословясь,**

**Не в чисто поле, а в темный лес,
Не воротами, а собачьими тропами.
Встану не благословясь,
Пойду не перекрестясь,
Не воротами – тараканьими тропами.**

Пляски язычников. Джазовая импровизация. Готический хорал.

Выкрики из мегафона: Марш! Марш! Выполняй приказ! Готовьсь! Цельсь! Пли! Сидеть! Лежать! Фас! Марш! Марш! Выполняй приказ! Готовьсь! Цельсь! Пли! Сидеть! Лежать! Фас!

Суфийская глоссолалия.

Короткая пауза.

Это просто температура,
Это только недомогание.
Дирижер потерял партитуру,
Но уже начал танец камланья.

Просто температура,
Это только недомогание.
Дирижер потерял партитуру,
Но уже начал танец камланья.

Гитарные соло. Эстрадное пение, стилизованное под советские мультипликационные фильмы.

Блуждающий глаз,
Затерявшийся
В надменных лабиринтах ржавчины,
В чахоточных дворцах бледного безумства.
Выжимающий по капле
Радугу слез
Со своего промокшего холста.
Покидающий цвет...

*Помпезная кода в стиле хард-рока 70-х.
Отзвуки рояля растворяются в тишине.*

*Флейта. Щебетание птиц. Суфийские напевы.
Африканские барабаны.*

Заклинаю тебя тревогой.
Время комкают спазмы,
Скорлупу неживой ухмылки
Проклевывает проказа.

Африканские барабаны. Эжальтированные танцы.

Просторное помещение (нечто среднее между комнатой и тюремной камерой). Тусклое освещение. С балки под потолком свисают белые чулки и ржавые цепи, в которых запутана старая скрипка и смятые клочки бумаги. В центре – маленький стул, самодельный столик, на нем – горящий свечной огарок и старая печатная машинка. За столом – человек в белой рубашке, круглых старинных очках с отломанной правой дужкой, в помятой шляпе. Справа от него – небольшой металлический кофр, осыпанный бумажными обрывками. Слева – широкий подиум, на стенке которого прикреплен плохо освещенный портрет (изображение неразборчиво). За подиумом – наглухо закрытая дверца, подсвеченная красным светом. С потолка сыплются обрывки бумаги. Человек заправляет в печатную машинку чистый лист и с некоторой нервозностью принимается за набор текста. Порой клавиши заедают и ему приходится руками распутывать зацепившиеся друг за друга железные молоточки. Справа на заднем плане, перед широкой кирпичной стеной – старый бочонок, на котором стоит ржавая железная рама, у ее основания вульгарная статуэтка, изображающая ангела. Декорации плохо различимы, так как постоянно мигает стробоскоп.

*Треск костра.
Звон колоколов.
Вой ветра. Свист
сирен. Звуки арфы.
Крики.*

Они становятся разборчивы только в тот момент, когда частые вспышки сменяются тусклым синим светом, постепенно накаляющимся.

Справа от подиума загорается белое полотно, сквозь которое проступает театр теней (силуэт с рамкой в руках).

На подиуме появляется балерина в белом одеянии. Она грациозно двигается, изгибаясь в танце. Человек поправляет спадающие очки и оглядывается по сторонам.

Из кофра вылезает существо небольшого роста (не то карлик, не то ребенок), одетое в черную робу. Карлик медленно прохаживается вокруг столика, взяв в руки свечу. Человек пристраивается над столом и, неприятно улыбаясь, нервно пританцовывает в паузах между набором текста. Скрипка и чулки покачиваются на ветру. С пола поднимаются облака пыли, напоминающие клубы дыма.

Во всю правую часть стены зажигается экран, на который проецируется изображение: двое в строгих черных костюмах с белыми галстуками при помощи специальных железных тросов с механической очередностью раскрывают и снова закрывают ржавый люк огромной вентиляционной трубы, с крышки люка на них сыплются яркие в свете люминесцентных ламп обрывки бумаги.

Хруст шагов по гравию. Толпа в черных робах с факелами в руках. Жрецы гремят цепями.

Звуки фортепьяно. Двое жрецов накидывают ржавую цепь на шею осужденного на казнь. В его руках – свеча из зеленого воска.

Низкочастотные акцентны. Неразборчивое пение в мегафон (язык напоминает английский).

Звуки электрогитары.

Хор:
Absit omen!*
Absit omen!
Absit omen!
Absit omen!
Absit omen!
Absit omen!
Absit omen!
Absit omen!

* Да не послужит это дурным предзнаменованием! (лат.)

Тем временем синий свет становится всё более ярким. Человек сжимает голову руками. С потолка медленно опускается болтающийся в петле манекен.

Дверца на заднем плане немного раскрывается и оттуда бьет ослепительно яркий свет. Человек закрывает глаза. В просвете балерина танцует в облаках пыли. С потолка сыплются обрывки бумаги. Манекен раскачивается из стороны в сторону. Чулки и скрипка развеваются на ветру. Карлик поджигает вставленный в печатаную машинку лист бумаги.

Лишь через минуту свет гаснет, вместе с ним потухает видеопроекция, карлик ставит свечу обратно на столик и залезает в свой кофр. Меркнет театр теней. Огонек свечи превращается в факельное пламя. Бумажный лист пылает. Человек не перестает печатать. Из машинки во все стороны разлетаются искры. Яркий свет сменяется стробоскопом. С потолка сыплются обрывки бумаги. Человек вытаскивает из печатной машинки несгоревшие остатки листа и бросает клочки в сыплющийся поток. В искрах вспыхивает манекен продолжает болтаться в петле.

Пламя свечи потухает. Печатная машинка и огарок в подсвечнике еще около минуты продолжают дымиться.

Звуки струнного оркестра. Железная петля сужается на шее осужденного.

Солистка:
Viva la Guerra!
Viva la Iglesia!
Viva la Sangre del sacrificio!*
Viva la Guerra!
Viva la Iglesia!
Viva la Sangre del sacrificio!

А капли всё так же колотят в стекло.
А капли всё так же колотят в стекло.

Один из жрецов гасит свечу в руках осужденного. Хруст шагов затихает.

Старая икона.
Ее суровый лик,
покрытый морщинами трещин,
своей бесцветной бесстрастностью

* Да здравствует Война! Да здравствует Церковь! Да здравствует жертвенная Кровь! (исп.)

так напоминает серую маску Флоры,
но без усталых истерзанных черт, вызывающих жалость.
Без следов красоты.

Кадры из фильмов Тарковского и Аристархияна.

Ряженный в сети таинственно спокоен, лишь тающей дымкой сомненья подернуты очи. Смел с алтаря кости и присел тускло, склонив плечи навстречу смерчу.

Кадры из мультфильмов братьев Куэй: человеку отрезают голову и на ее место водружают череп куклы.

Ночь облачив в саван, олицетворяя покорность умирающей луне...

Молитва: Ночь облачив в саван, олицетворяя покорность умирающей луне, с беспристрастностью гильотины ожидает точильщика. Ночь облачив в саван, олицетворяя покорность умирающей луне, с беспристрастностью гильотины ожидает точильщика. Ночь облачив в саван, олицетворяя покорность умирающей луне, с беспристрастностью гильотины ожидает точильщика. Ночь облачив в саван, олицетворяя покорность умирающей луне, с беспристрастностью гильотины ожидает точильщика. Ночь облачив в саван, олицетворяя покорность умирающей луне, с беспристрастностью гильотины ожидает точильщика. Ночь облачив в саван, олицетворяя покорность умирающей луне, с беспристрастностью гильотины ожидает точильщика. Ночь облачив в саван, олицетворяя покорность умирающей луне, с беспристрастностью гильотины ожидает точильщика. Ночь облачив в саван, олицетворяя покорность умирающей луне, с беспристрастностью гильотины ожидает точильщика. Ночь облачив в саван, олицетворяя покорность умирающей луне, с беспристрастностью гильотины ожидает точильщика...

Декламирующий карлик: Элемент изъят! Элемент изъят! Элемент изъят!

*Грохот падающего с лестницы пианино. Плавающий манекен.
Затемнение.*

II

механика меланхолии



Горловое пение.

Черно-белые кадры: голый старик, свернувшийся в позе эмбриона; толпы людей разбегаются в разные стороны; безногий нищий, отталкиваясь руками от асфальта, начинает движение на небольшой тележке; громогласный хор; дирижер медленно размахивает палочкой; арабские семьи, спасаясь от взрывов, выбегают из длинной арки, теряя наскоро собранные вещи; наголо бритый человек колотит палкой по огромной металлической раме.

Тусклый свет огромной лампы. Под ней две фигуры в черных робах и масках из теста.

- Ты не спишь?
 - Кажется.
 - Что кажется?
 - Кажется, не сплю.
 - А как ты себя чувствуешь?
 - Не знаю. Где мы?
 - Не знаю. Не помню. Какая разница?
 - По-моему, я чувствую себя лучше. Там что, окно открыто? Ветер такой прохладный. Из того, из дальнего окна дует.
 - Нет, здесь же нет окон.
 - Ах, ну да... Сколько времени?
 - Не помню. Долго.
 - Что значит долго? Я имею в виду, который час?
 - А, это. Я не знаю, часов же нет, зачем ты всё время спрашиваешь? Какая разница? Зачем спрашиваешь?
 - Мне лучше, мне определенно лучше. Чувствую какой-то прилив сил.
 - Это очень хорошо. Правда. Это правда, очень хорошо.
 - Закурить нету?
 - Здесь нельзя курить. Ты же знаешь.
 - Да я просто так, по привычке, извини, по привычке...
- А ты как?
- Честно говоря, еще никудашнее, чем раньше.
 - А что такое?
 - Я задыхаюсь. Мне кажется, что не сегодня-завтра воздух закончится. Совсем закончится.
 - Перестань, здесь еще полно кислорода. К тому же можно задерживать дыхание. Этому несложно научиться.
 - Искусственные цветы.

- Я умею. Показать?
 - Что показать? Ты хочешь изобразить цветок?
 - Да нет, как задерживать дыхание.
 - Нет, нет, не надо, я знаю...
 - Темнота корчит мне гримасы.
 - Мне тоже...
 - Знаешь, мне кажется, что кто-то завелся в моем мозгу.
- Ну, какое-то существо, понимаешь? Вроде гусеницы или сороконожки.
- Оно кусается?
 - Вовсе нет, оно просто ползает там, внутри, но это ужасно неприятно.
 - А что твой сон?
 - Какой?
 - Он больше не возвращался?
 - А, этот... уже несколько дней не приходил. Я даже начал забывать про него. Но это он нарочно, хочет, чтоб я потерял бдительность. Ничего, ничего! Этот номер ему не пройдет! Ему это не удастся! Черта с два! Меня не проведешь! Я теперь – не то, что раньше! Его повадки теперь хорошо мне известны! Он попропадает-попропадает, запропастится куда-нибудь, но потом обязательно появляется. Обязательно приходит. Обязательно... Точно так же, как эта сороконожка – ненадолго затихает, и опять начинает копошиться.
 - Мне страшно. Я смотрю на искусственные цветы и мне страшно. Вчера один бутон отвалился, как у живого, как у живого, понимаешь?
 - Выброси их. Я давно тебе говорю.
 - Их некуда выбросить, ты же знаешь.
 - А слышишь капли?
 - Нет, какие капли?
 - Почему ты никогда их не слышишь? Почему никто, кроме меня, не слышит эти проклятые капли?
 - Это не капли, это ртуть.
 - Что?
 - Ртуть.
 - Что ты говоришь, какая ртуть?
 - Ртуть из разбитого термометра. Мы вдыхаем ее. Говорят, это вредно.
 - Нет, я не верю в ртуть. Никаких термометров мы не разбивали.
 - А может, это не мы разбили термометр.

- А кто же еще? Кроме нас, тут никого не было.
- Так уверенно говоришь, может, скажешь тогда, где мы?
- Это против правил! Это против правил. Зачем ты так? У меня от этого начинает болеть голова. Я слабею. Там гусеница, потрогай, там гусеница. Она шевелится. Ее видно даже – кожа топорщится. Как от нее избавиться? Может, выплюнуть?
- Ты не сможешь.
- Да, не смогу. Я чувствую слабость. Опять чувствую слабость.
- Так вот, гримасы... Знаешь, когда смотришь в темноту, иногда на секунду может показаться, что перед тобой стоит целая толпа. Все они наклонились и заглядывают тебе в лицо, но ты не видишь их, только чувствуешь их пристальные взгляды. А еще они сдерживают смех. Их лица мерцают от пота.
- А мне мерещатся угли. И еще вода с лунными бликами.
- С лунными бликами. А что такое лунные блики?
- Не знаю. То, что видится мне в темноте. У каждого свои галлюцинации.
- А я не могу поднять голову от подушки, гусеница сразу оживает.
- Поспи еще.
- Наверное, правда, стоит еще поспать. Разбуди, когда приедем.
- А если мы никогда не приедем?
- Значит, я проснусь без твоей помощи, как обычно.
- Хорошо.
- Значит, условились?
- Условились.
- Без обмана?
- Без обмана.
- А зачем мы поменялись ролями?
- Не знаю, должно быть, так интереснее. Не так скучно.
- Ты думаешь, так просто понять мой характер?
- Нет, но я попытаюсь. А ты сможешь сыграть меня?
- Я не играю, я и есть ты.
- Да, я просто забыл. На мгновение забыл, что тебя не существует.
- Но ты же ощущаешь мое присутствие?
- Да, конечно.
- Как же так – меня не существует, но ты ощущаешь мое присутствие?

– Очень просто: ведь я существую, но не ощущаю своего присутствия.

– А я не существую и не ощущаю своего присутствия. Забавно, да?

– А мое присутствие ты ощущаешь?

– Мне кажется, я ощущаю что-то похожее на твое присутствие, но это не ты.

– Знаешь, а ведь мне тоже так кажется.

– Это не ты, это какая-то иллюзия.

– А ты помнишь, как меня зовут?

– Конечно, нет, неужели ты помнишь?

– Нет, имена никогда не были мне известны. Они похожи на твои искусственные цветы с отваливающимися бутонами. Так же бессмысленны.

– А зачем ты спрашиваешь?

– Не знаю, захотелось разыграть тебя – вдруг придумаешь мне имя, и сделаешь вид, что меня именно так всегда и звали. Хотелось посмотреть, сумеешь ли ты выкрутиться.

– Это смешно. Мне это смешно.

– Мне тоже.

– Видишь, я же говорю, сегодня необычный день. Не зря было это ощущение прилива сил. Не зря.

– Ты думаешь?

– Абсолютно точно, поверь мне. Поверь мне.

– Я тебе не верю.

– Почему?

– Потому что я кое-что понял.

– Что ты понял?

– Знаешь, что означает это ощущение иллюзии твоего присутствия?

– Что?

– Что я знаю, кто ты.

– Конечно, знаешь, я – это ты.

– Нет, ты – это вовсе не я. Я знаю, кто ты на самом деле. Ты – гусеница в моей голове.

Затемнение.

В сырую землю вкопана полусгнившая оконная рама. Под ней – яма, неглубокая, но вмещающая одного человека. Из земляного окна выглядывает лицо. По его выражению сложно установить, кому оно принадлежит – даже возраст и пол

не поддаются определению – настолько оно свободно от эмоций. Болезненно широкий лоб, плешивые брови, широко открытые глаза, выпирающие скулы. Внутри глаз нет никаких намеков на эмоции – там нет ни ярости, ни скорби, ни мольбы, ни надежды. Создается впечатление, что слепой человек выглядывает из оконного проема в земле безо всякой цели.

Когда подсолнух распускается, то из-под ярких лепестков показываются мелкие семечки. Издалека, даже с пяти шагов, они выглядят как единая масса – черный круг, окаймленный языками огня. Так удивительно, что этот круг состоит из сотен отдельных зернышек. Они прижались друг к другу настолько сильно, что между ними с трудом можно втиснуть даже иглу. Но в действительности соприкасаются не семена, а черная лузга, ведь каждое из них надежно запрятано под крепким слоем, будто в миниатюрный саркофаг, и упаковано в отдельную ячейку. Сами семечки никогда не касаются друг друга. Птицы обожают склевывать их из поднявших головы подсолнухов, очищать от лузги и проглатывать, оставляя в цветке пустые ячейки, похожие на высохшие пчелиные соты. Это всегда выглядит жутко: кажется, будто они выклевают чьи-то глаза.

Ее не переставал занимать вопрос, почему в природе, в которой, несомненно, присутствовала незыблемая (почти совершенная) внутренняя логика, зачатие оказалось связано с наслаждением, а рождение – с непереносимой болью. Создать всегда было во много раз мучительнее, чем замыслить.

Мерзкий снег мокрыми хлопьями летел прямо в лицо и сползал по щекам. Надо мной нависла смугло-коричневая тень огромного памятника, темный силуэт почти сливался с сумрачным небом. Заупокойный звон церковных колоколов гулким отзвуком растворялся в воздухе. Только что закончилась презентация моего первого романа.

Проецирование реальности. Дубль второй. *Ad opus!** Хлопушка... Вопль режиссера... Поехали! Живее! Мотор идет!

* К делу (лат.)!

Осветители и гримеры, команда ассистентов, – все засуетились! Они не отрывают глаз от съемочной площадки! Оператор с ненавистью смотрит сквозь линзу прицела. Наводит крест на жертву и расстреливает ее до тех пор, пока она не распадется на атомы кадров. И из этих осколков можно будет смонтировать какую угодно реальность.

Каждое утро я встречаю ее. Вижу ее исхудалое, измученное лицо. В ее руках мокрая серая тряпка. Она с величественной покорностью моет пыльный пол. В ее покорности нет ничего рабского. Она свята, в ней не может присутствовать рабское. Я всегда здороваюсь с ней кивком головы, а она отвечает этим приветствием мне, поправляя седые, повязанные платком волосы. Мы не можем позволить себе иного общения – ведь мы разделены толстой перегородкой из стекла. Ее длинная темная накидка напоминает мне крылья бабочки-траурницы. Мы ничего не знаем друг о друге, но мне кажется, что на всем пространстве огромной холодной витрины, да и по ту сторону прозрачной клетки, это единственный человек с которым у меня есть мистическая внутренняя связь. Собственно говоря, кроме нас с ней здесь никого и нет (манекены и прохожие не в счет). Правда, я до конца не уверен в ее существовании. И я не знаю, почему называю ее святой, ведь я никогда не любил этого слова. Это только путает мои категории, ведь в других случаях я именую святыми самых отъявленных подонков. Это слово также искорежено спектаклем, как и остальные единицы языка. Но она свята истинной святостью. Она вне войны. Она вне спектакля. Она кажется мне бессмертной. Мне нравятся ее впалые, влажные от слез, полные истомы глаза. Я люблю ее пронзительный взгляд, ее малахитовые зрачки, ее тонкие траурные крылья.

Сквозь бледную оболочку всё явственнее просвечивает пульсирующая кровь. Игре становится слишком тесно внутри плаценты. Она выносила сама себя и требует свободы рождения. Бурлящей игре хочется вырваться на волю, выплеснуться за край выделенного ей пространства, игре хочется завоевать статус высшей реальности, стать истинной жизнью. Игра не терпит имитации. Да, у нее всегда напрочь отсутствовало чувство меры. Игра располагает-

ся в сфере эстетического, а у всего, что имеет отношение к первозданной красоте, не может и не должно быть этого омерзительного чувства меры. Нет, игра не совместима со сценарием, игре слишком мало выделенных ей жалких измерений, она необузданна, она должна хлестать через край, взрываться, грохотать! Она желает вытряхнуть из действительности самодовольство и удовлетворенность – всё то, что составляет фундамент *bienséance**. А чувство меры было изобретено спектаклем исключительно для того, чтобы изолировать и задушить игру. Спектакль одинаково не переносит и смешное, и трагичное.

Ему казалось исключительно банальным вкладывать то, что обычно характеризуют как «основную идею» книги, в уста одного или даже нескольких персонажей, как бы между делом, ненавязчиво и осторожно вкрапив эти мысли в текст. Идея, пронесенная контрабандой, во всех случаях оказывалась обречена на девальвацию. Нет, ему хотелось, чтобы роман целиком и полностью состоял из этих идейных кирпичей. Но вместо того, чтобы строить из булыжников здание, он предпочел швырять их в головы прохожих.

Жанр прелюдии исконно не имел определенной формы. Первоначально прелюдия представляла собой небольшое вступление импровизационного характера, фантазию, непродолжительный наигрыш. Органист исполнял прелюдию для приготовления прихожан к пению хорала, и ее тональность была той же. В какой-то момент так стали называть первую часть сюиты, за которой следовали аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Лишь со временем прелюдия превратилась в отдельную музыкальную форму, хотя и не имеющую четких стилистических границ, но равнозначную полноценной пьесе.

Вчера мне позвонил Игнатий. Он опять приехал сюда. С какой-то новой повестью. Надеялся, что ее издадут. Я уже давно ни с кем не встречался под самыми разными предлогами, но Игнатий приехал издалека, и я принял решение с ним поведаться. Жить ему здесь было негде, работу ис-

* Благопристойности (фр.).

кать – бессмысленно, а повесть его едва ли кому-нибудь была нужна. Похоже, он и сам это понимал, но в глубине души на что-то надеялся. «Удивительно, – говорил он, когда мы сидели на вонявшем помойкой помосте, – порой несколько дней пишешь один абзац, а читатель, если вообще найдется, проскочит его меньше чем за полминуты»... Да – я иногда общался с ним после его смерти.

В кузов, нас всех погружают в один кузов. Мы выполняем вполне определенную функцию. Мы товар, который закупают оптом. Мы – воины. Мы выплунуты в войну. Мы готовы к сражению. Нам распределили необходимую амуницию: бушлаты, лопаты, автоматы. Всё это бесплатно – входит в комплект. Точно так же заключенные получают свои кандалы, цепи и скрипящие засовы камер. Точно так большинство устройств в магазинах бытовой техники дополнены сетевыми шнурами, адаптерами и коробками, всё это включено в стоимость приборов. Мы – товар, который с минуты на минуту выставят на витрину. На передовую. Мы главные герои новой кинокартины – многосерийного боевика. Мы удостоились этой чести. Но товар с витрины (в отличие от коллег со склада) не подлежит продаже, он навсегда остается товаром – вот в чем главный кошмар нашего положения. Витрина священна, это алтарь нашей эпохи. Агнцев-гладиаторов приносят в жертву во славу зрелищу. Камуфляж упаковки надежно скрывает те клубки проводов и микросхем, которые мы на самом деле представляем. Мы принадлежим войне. Наш враг – это покупатель. Покупатель, который не желает нас приобретать. Нам надо любыми способами убедить его в необходимости приобретения. Наличие врага необходимо для отлаженного функционирования военной машины. Бог потеряет свое величие, если не станет Дьявола. Это основа сценария. Образ врага представляет могучую силу, стимулирующую рост и инициативу в производстве, рекламный отдел отвечает за имманентную актуальность этого образа. Мы гибнем за право быть приобретенными. В этом главный смысл войны. Но отнюдь не единственный. Существует множество подсмыслов, ведь на самом деле линия фронта никем не определена. Нельзя сказать, что ее нет и что все сражаются со всеми – нет, это не совсем так, но союзники и противники постоянно меняются. Каждый из

нас пребывает в состоянии паники, находится в ожидании потенциальной атаки. Обезумевшие, мы время от времени начинаем стрелять друг в друга, и в результате образ врага невольно проецируется на первого встречного. Войне это выгодно, более того, это – залог ее существования. В хаосе войны солдаты теряют всякую самоидентификацию. Война – наиболее эффективный двигатель рынка, синонимом благосостояния, самое абсурдное и одновременно самое яркое проявление существующего положения вещей, заранее предустановленного и усердно поддерживаемого культом. Война может менять формы, но сущность ее всегда остается прежней. Варьироваться могут отдельные величины, тогда как система координат константна. Нынешняя война стремится уничтожить любые пережитки мирного времени. Она импортируется во все уголки света. Товар может спасти от приобретения только обнаружение брака. Вырваться с войны можно, только став калеккой. Война повсюду, война внутри каждого живого существа, но при этом она многих возмущает. Точнее нас возмущает не сама война, а ее недостатки, нам кажется, что она могла бы быть совершеннее. Сам факт войны нас давно не волнует – все сходится в признании ее необходимости. Наоборот, протесты вызовут всеобщее недоумение, ведь только война сохраняет последнюю иллюзию близости между нами. Война придает нам силы! Война делает нас счастливыми! Война прекрасна, потому что она обосновывает само наше разорванное существование! Мы дошли до самого крайнего предела: собственное уничтожение мы воспринимаем как эстетическое наслаждение высшего ранга. Вот почему если мы вообще протестуем, то выступаем исключительно против незначительных мелочей, против части – но только не против целого. Любопытно, что «неповиновение» мы способны выражать только скопом – по отдельности это кажется страшным. Впрочем, мы сами не делаем ничего, чтобы изменить даже то, чем возмущаемся (никто из нас не способен принимать решения самостоятельно, без приказа). Так, например, нас постоянно раздражают привилегии старших офицеров. Нередко мы заявляем, что терпение уже на пределе, что нужно прикончить всех старших офицеров. Но даже в эти секунды вполне очевидно, что никто ни при каких обстоятельствах не станет этого делать (как бы мы не распяляли свой гнев, мы никогда не преступим закона). И, само собой разумеется, что как только один из

нас становится старшим офицером, все эти возмущения незаметным образом улечиваются. Однако больше всего нас бесят мелкие привилегии соседей – таких же солдат, как мы сами (хотя собственно солдат на этой войне все меньше и меньше, большинство задействованных в сражениях – это сержанты, младшие лейтенанты, короче говоря, не рядовые; рядовых очень мало, не более одного на роту; рядовой на этой войне подобен юнге на корабле, он так же жалок и одинок). Мы готовы часами обсуждать, что соседи недостойны этих привилегий, а мы достойны – и для этого находятся тысячи аргументов. Львиную долю наших споров составляют дискуссии об упаковке, мы беседуем о том, что товар должен быть упакован надлежащим образом и выбираем, в какую из готовых оберток мы хотели бы быть упакованы. Большое значение в процессе упаковки каждый придает этикеткам – как правило, мы считаем их самой важной составляющей обертки. Еще бы, ведь именно она придает нам товарный вид! Мы – топливо войны. Порой мне приходит в голову мысль, что мы все и не заслуживаем мира. Означает ли это, что я соглашаюсь со спектаклем?

Взглянув под ноги, он случайно заметил небольшое темное пятно на мерцающем, покрытом жидкими чешуйками лунного света асфальте. В сумерках было почти не видно, что это – то ли какой-то обрывок, то ли просто грязь. Но ему почему-то захотелось остановиться и разглядеть пятнышко повнимательнее. Просто ему померещилось... Он нагнулся. Да, так и есть: пятнышко оказалось засохшей бабочкой. Она лежала прямо под витриной, легкий ветерок еле заметно тербил ее каштаново-карие крылышки. Он аккуратно поднял ее и положил на ладонь. И в этот самый миг произошло чудо: траурница воскресла и вспорхнула в воздух, взметнув с его ладони горстку пепла. Взмах крыльев бабочки показался ему похожим на рождение ребенка.

С помощью видеопроектора алхимик демонстрирует на широком экране смонтированный им кинофильм. Он лишен сюжета и скорее выступает не как самостоятельная художественная единица, а в качестве дополнительного визуального сопровождения того, что происходит на темной, подсвеченной лишь снизу авансцене. Так же, как световые лучи и

пульсирующие вспышки, так же, как и не прерывающаяся ни на миг музыка (алхимик, как никто иной, постиг ее великое таинство, ее заражающую силу) – всё это единый ассоциативный ряд. Здесь, в темной комнате, алхимик сотворяет колдовство игры, наполняет пустое пространство звуком. Из обрывков бумаги, пыльных лампочек, потрескавшихся светофильтров, металлических конструкций, микрофонов и проводов, прочих сподручных материалов, он умудряется изобретать не искусственные, а живые материи – он конструирует язык. Таинственными заклинаниями он оживляет все окружающие предметы; все вещи, хотя и остаются узнаваемыми, напрочь лишаются привычного контекста и качества в хаотической комбинации линий, форм и красок. Главным драматическим средством алхимик делает собственную галлюцинацию – язык знаков, диалог второго разряда. Мелодии и ритмы сменяют друг друга, черно-белые кадры перемежаются вспышками стробоскопа, языческие пляски загримированных безумцев распятыми бабочками вздымаются к небу, изгибы их полуобнаженных тел, бьющихся в лихорадочном танце, рождают неожиданные узоры движения и обволакивают задействованные в игре символы – их не так много, как может показаться на первый взгляд: свечной огарок, пара детских стульчиков, деревянная рамка, белые чулки, круглая железная решетка, потрепанная печатная машинка, раскаленная электроплитка, ржавая цепь, нелепые очки, помятая фетровая шляпа и, конечно же, тесто. Разрозненные и нелепые предметы, превращаясь в согретые поэзией символы, околдовываются и наделяются неведомой силой, из бессмысленных осколков сходятся в космическое единство, поражают своей непостижимой собранностью. И эти действующие символы становятся подмостками для всего, что стоит за ними. Лазерные лучи преломляются в расставленных по краям комнаты зеркалах и сплетаются в мистические письмена. Фабула сменяющих друг друга изображений, рассчитанная с математической точностью, предстает величественно-хаотичной. За белым полотном мелькает размытый силуэт с деревянной рамкой в руках – особое внимание алхимик уделяет театру теней. Еще бы! Ведь его собственное существование всегда казалось ему размытым призраком, а здесь, в этой сумрачной камерке без стен, он рождает подлинного себя. Лишь игра возвращает ему ощущение жизни: делает воду жидкой, камень твердым, а огонь обжигающим. Но этот магический пафос, тем не менее, не обходится без

смеха, часто переходящего в истерику и неизменно мерцающего в каждой капле крови: в анархии и разрушении всегда присутствует неистовый, злобный юмор. Алхимик сочетает древние, забытые инструменты с новоизобретенными, использует пространство всех измерений – синтезирует все возможности самовыражения (включая те, что предоставлены самим спектаклем – он издевательски выворачивает их наизнанку и исцеляет – вдувает в мертвые образы жизнь), цементируя их внутренней поэзией взаиморазрушения, но, кажется, даже этих средств ему не хватает для реализации его замысла. Ведь алхимику заведомо известно, что он изображает то, что не поддается изображению – изображает изображаемое. Вся трагедия заключается в этом. Или то, что он делает вообще нельзя называть изображением? Во всяком случае, он сам отказывается от этого термина. Но ему часто кажется, что, выражая чувство, он предает его, ведь он пытается облечь в слова молчание – он мыслит немислимое, мыслит саму невозможность мыслить. Внешне алхимик выглядит спокойным, но за этой видимостью покоя скрывается высшее напряжение. Псу нужно содрать с себя шкуру, чтобы превратиться в человека. А если он хочет остаться человеком навсегда – ему придется жить с содранной кожей, освободить скелет от плоти, окатить кислотой свою душу. Его неистовый крик – это крик опустошения. Его игра глубоко трагична, трагедия пропитывает насквозь каждое из его движений. Но, возможно, это высочайшая форма творчества, на которую способен человек, и, несомненно, самая опасная его форма. Алхимик постоянно переживает состояние крайнего надлома, захлебывается смехом глоссолалии и бьется в эпилептическом припадке, ему смешно и жутко одновременно. Он погружен в свою мучительно-прекрасную медитацию, в триумфальный траур. Прелюдия – это апофеоз одиночества. Каждую секунду он испытывает муки рождения, но не рождается; он постоянно пребывает под угрозой потерять разум, но не сходит с ума. Он никогда не остановится. Он превратился в игру. Он видит просвет присутствия.

Повесившийся звонарь тонкой веревкой за-
стыл в колоколе мечты.

Пустая чернильница, на дне которой поэт
пытается отыскать последние капли.

Цветок на солдатской могиле.

Старый рыбак, рассекающий волны в сосновом гробу; блаженный в своем последнем плавании; седые волосы окропляет осенний дождь.

Перо, выпавшее из крыла ворона. Ребенок нашел его на просеке и сжег.

Колдун, в силу которого больше никто не верит.

Палач, на мгновение опустивший голову на плаху; в забытии он уставился на не отмытую кровь. Больше всего он боится своих новых жертв.

Психиатрическая лечебница, старые стены которой уже не сотрясаются от отчаянных криков душевнобольного.

Каракули, намалеванные детским мелком на асфальте.

Треск от срубленного дерева, нарушающий тишь тайги.

Трясущиеся руки спившегося художника.

Пьяный шахтер, засыпанный углем; сдвинув на лоб каску, заснул в золе; фонарь разбит.

Пророк, закиданный грязью.

Прерывистое дыхание сраженного воина.

Мальчик, просящий милостыню.

Мотылек, летящий на пламя.

Последняя нота, выпорхнувшая из флейты музыканта, который решил бросить игру.

Инвалид со сломанным позвоночником, в его палату уже неделю никто не заходит – ни родственники, ни персонал.

Слепой фотограф, силящийся запечатлеть облик Вселенной.

Обезумевший актер, декламирующий перед пустым залом бессвязные обрывки своих прошлых ролей.

Пожарный, облитый огнем; счастливый в своем безумии.

Пьяный могильщик, поскользнувшийся и упавший в предначертанную яму.

Монах, одержимый желанием покинуть келью и найти исцеление.

Снайпер, прицелившийся в зеркало. С любопытством и враждебностью он смотрит сквозь стеклянную линзу, рассеченную крестом.

Прелюдия в ее необъятном величии.

Он стоял и устало озирался по сторонам, его всё еще мучил голод. Он сверлил его изнутри и не давал покоя. Победить голод мог только обморочный сон. Поезд неторопливо подъезжал. Он старался не вспоминать об этом, занимал себя мыслями о предстоящем сне. Он боялся поезда. Но еще больше боялся того, что все-таки найдет в себе силы войти в поезд. Ему хотелось забиться под лавку. Поглубже зарыться под грязные картонки, разбросанные там внизу. Ему казалось, что там его не сразу найдут, что ему удастся хоть немного потянуть время. Уставшие, больные глаза едва сдерживались, чтобы не сомкнуться. Ему так надоело ночевать под землей. Но имелся бесспорный плюс – здесь, в метро, было теплее. Он уже не помнил того раза, когда впервые научился безнаказанно проникать сюда. Научился быть незаметным. Нет, лавка не подходила. Как не зарывайся в обрывки картона, а ветер всё равно будет пробиваться сквозь голову. Ему хотелось тепла. Это желание было сильнее страха. Заполучить тепло во что бы то ни стало – вот что ему было нужно. Даже ценой побоев. Двери отворились. Он быстро вбежал в пустой вагон. Испуганно осмотрелся. Кроме него, пассажиров не было. Неразборчивый голос сверху произнес какую-то маловразумительную фразу. К нему она не имела никакого отношения. Имела ли она отношение к чему-либо? И могло ли хоть что-то иметь отношение к нему? На самом деле, до него уже давно никому не было дела. Как будто его никогда и не существовало. Он к этому привык. Его это даже радовало. Ему казалось, что так свободнее. Спокойнее уж точно. Свою манию преследования он выдумал позже – от скуки. Он сам это прекрасно знал, но старался не говорить с собой на эту тему. Станция за окнами зашевелилась, размылась и исчезла, как всегда превратившись в черноту. Монотонное гудение дополняло кромешную темень. Все-таки он боялся движения. Его нос втянул воздух пустого вагона. Воздух был теп-

лым, сотканным из переливчатых запахов, показавшихся ему безопасными. Он отряхнулся и свернулся клубком на одном из сидений. Буквально через минуту уснул.

Да, спектакль всюду использует технические достижения. Прогресс – это его изобретение. Спектакль похож на сложнейшее устройство, напичканное микросхемами и проводками, на машину, способную постоянно самосовершенствоваться.

Что происходит со звуком? Он умерщвляется не менее изощренно, чем изображение. Звук записывается прямо на съемочной площадке. Тут повсюду расставлены микрофоны-пушки. Как и кинокамеры, они нацелены на актеров. Всё в соответствии с эстетикой войны. Микрофоны не пропустят ни одного шороха, и в конце концов каждый вздох оказывается слышен в микшерской, каждое шарканье, каждое слово превращается в россыпь ноликов и единиц, из которых в дальнейшем комбинируются шумы и речь.

Ты погружен в систему. Ты в персональной клетке, оборудованной специальными кнопками, рычагами и выключателями. Ты введен внутрь как механическая часть и обязан беспрекословно подчиниться. Ты не живешь своей жизнью, а исполняешь предустановленную функцию. Технологическая реальность вторгается в твоё личное пространство и сводит его на нет. Ты автоматический приводной механизм частичного труда. Ты не просто пассивный созерцатель закономерного движения вещей, в которое не в состоянии вмешаться, ты элемент этого всеохватывающего процесса, инструмент Высшей Необходимости. Любое твоё движение фиксировано и может найти предназначенное ему место только внутри самой системы, в соответствующих ей иерархических отношениях. Ты – рядовой солдат, выполняющий ряд рациональных предписаний, не имеющий представления ни о конечной цели своих действий, ни о ценности каждого отдельного акта. В этой системе ты вынужден общаться с массой незнакомых тебе человеческих деталей, с которыми тебя не связывают никакие отношения помимо профессиональных. Они известны тебе только благодаря той производственной информации, которую они передают. Фундамент твоего общения с ними

составляют безличные, типовые, зачастую облеченные в письменную форму инструкции. Повсеместное распространение этого стандартизированного, кодифицированного квазиязыка стало единственным способом привести в движение новую коммуникативную систему и заставить ее эффективно функционировать. Механизация производства превращает все сегменты в изолированные абстрактные атомы, которые не имеют между собой непосредственно-органического контакта. В пространственном аспекте эти производственные тела тяготеют к виртуальному существованию, как своеобразные точки координат в сети коммуникаций. Абстрагирующая обособленность элементов сцементировала иерархию их взаимосвязей, обусловленных исключительно конкретными механическими закономерностями, в которые они втиснуты. В этой системе социального самопоклонения каждый отождествлен с должностью, которую занимает, иные индивидуальные характеристики представляются побочными и излишними. Границы между публичным и приватным уничтожены. Психический и социальный мир сведен к внешним, измеряемым отношениям. Существует только специализация. Социальное тело получает положительную оценку лишь в случае, если действует в соответствии с тем местом, которое отведено ему в производственном здании. При необходимости любая человеческая деталь может быть заменена аналогичной, она не несет никакой индивидуальной ценности. Задача образования сводится исключительно к воспитанию достойных и преданных членов общества – множества атомоподобных, социально однородных единиц, которые займут соответствующие посты внутри этого анонимного, безличного организма, представляющего собой не более чем взаимосвязь рационализированных механизмов, чье единство определяется чистой калькуляцией, при которой они должны выступать по отношению друг к другу как случайные. Субъект существует здесь только благодаря собственной неполноценности и расщепленности – только благодаря *другому*. Этот другой существует не параллельно с тобой, а вместо тебя. Он призван стать твоим субститутом. Собственный образ воспринимается исключительно сквозь призму другого, идентифицируется с холодной иглой в твоём сердце. Индивид более не способен признать собственную экзистенцию. Не существует никакой возможности проявить свои физические или умс-

твенные свойства, которая бы не подпадала под власть всеобъемлющей формы предметности и была спасена от мертвающего воздействия овеещающего организма.

Черный кофр. Восьмиугольный параллелепипед. Я заперт внутри. Восемь углов и четыре способа расположения тела – вот что мне предоставлено. Четыре варианта – это положения наискосок от верхних углов к нижним. Только так я помещаюсь внутри. Но и это страшно неудобно, приходится свертываться калачиком, как еж в предчувствии опасности, вжимать голову в колени, и изо всех сил словно металлическим обручем обхватывать тело руками. И лежать в такой позе покуда не надоест. Конечности словно пришиты друг к другу. Когда же становится совсем невозможно, можно (не изменяя, впрочем, самой скорченной позы) поменять углы – вместо ситуации «горб в правом дальнем верхнем углу, ступни ног в левом ближнем нижнем» расположиться так: «Ступни ног в левом дальнем верхнем углу, горб в правом ближнем нижнем». Вполне понятно, что определения *ближний* и *дальний* в этой ситуации весьма условны («*Ближний* относительно чего?» – придеретесь вы и будете правы). Но я называю так углы исключительно, чтобы хоть как-то отличать их друг от друга. Это лишь некая система координат, облегчающая анализ ситуации, хотя, разумеется, далеко не совершенная, ведь я допускаю, что по мере перемещения начинаю путать *ближние* углы с *дальними*. Более того, у меня уже нет уверенности даже в том, что я не путаю нормальное положение (вверх головой) с перевернутым (вверх ногами). Мудрено ли: столько лет удерживать в памяти эти геометрические формулы, тем более – в полной темноте. К тому же за все годы глаза вовсе не адаптировались к этим условиям, напротив – мне кажется, что с каждым месяцем зрение всё больше ухудшалось (насколько вообще можно говорить о регрессе применительно к данной ситуации), так или иначе, тьма становилась всё более плотной и непроницаемой. Мне кажется, что я давным-давно ослеп. Или просто мне никогда не представлялось случая раскрыть глаза? Впрочем, всё это не так важно, суть в том, что мне дано всего четыре способа упаковать свое тело в черную коробку и всего одна поза, в которой я могу реализовать их. Это я знаю наверняка. Всё остальное – частности, мелочи, детали и пустяки. Восьмиугольный гроб с толстыми стенками из тонированного стек-

ла – вот, что представляет важность. Пространства на передислокацию почти нет, но, если запастись терпением, то в течение нескольких часов можно осуществить задуманное. Конечно, приходится вдоволь потрудиться, хорошенько попотеть ради мнимого разнообразия. Как правило, к концу этой операции сил двигаться почти не остается, и тогда можно блаженно замереть на новом месте с чувством выполненного долга. Иногда я задумываюсь, а что, собственно говоря, меняется от этих черепаших перемещений? Но лучше гнать прочь эти мысли, ведь они неизменно приводят меня в бешенство. В такие минуты я пытаюсь еще сильнее поджать ноги, распрямить шею и попробовать, что есть силы, удариться головой о стенку кофра. Иногда это удается, однажды я до крови разбил затылок. Корка на задней стенке черепа полностью раскрошилась и заросла новой кожей только через месяц. Это был мой личный рекорд. Но на подобное хулиганство уходит вдесятеро больше сил, чем на любое из перемещений, и после этого приходится подолгу лежать в одном положении, покуда не затекут все конечности, а потом, собирая останки сил, снова менять углы – иначе окаменеешь.

Тот или иной субъект может быть манекеном по отношению к одним, и прохожим – по отношению к другим объектам. Спектакль слишком тотален, чтобы допустить столь примитивное разделение на сцену и зрительный зал. Прохожий и манекен постоянно меняются ролями – по первому желанию. Всё пространство спектакля есть бесконечное переплетение витрин и улиц. Даже функции режиссера попеременно передаются персонажами друг другу. Режиссера время от времени переизбирают из двух существующих фракций.

Хуже того, даже пассажир воспринимается со стороны как манекен или прохожий. *Vector vectori pupus est** – вот негласный закон спектакля. И потому даже на самого себя пассажир смотрит то как манекен на прохожего, то как прохожий на манекена.

Цифровые магнитофоны. Для того чтобы синхронизировать их друг с другом, необходимо последовательно соеди-

* Пассажир пассажиру – манекен (лат.).

нить их при помощи *synk*-кабелей. Тогда *master*-магнитофон сможет управлять *slave*-машинами. Впрочем, любая из них легко может стать *master*, нужно только изменить настройки в меню и перекоммутировать провода. *Master*-машиной можно управлять при помощи дистанционного пульта.

Вы же сами уже не можете без всего этого – без белого воротничка судьи, без выхлопных газов, без грохота кандалов, без заполнения квитанций, без понимающих глаз психоаналитика, без блеска гильотины, без шелеста купюр в кошельке, без заточенных штыков, без шоколадного печения, без автоматных очередей, без обезглавленных мятежников, без пыток, без войн. Вам же нужно всё это – как наркотик, как воздух, как гарантия вашего существования... Для вас не существует ни прошлого, которое вы списываете вместе со старыми зубными щетками и тупыми бритвами, ни настоящего, которое растворилось в потоке рекламных репортажей, ни будущего, которое предсказуемо, как «аминь» в конце воскресной проповеди.

Номера домов забрызганы кровью. Названия улиц тоже трудно различимы из-за покрывающих их бордовых разводов. К тому же разбираться в них – гиблый номер. Эти названия меняются раньше, чем ты успеваешь запомнить прежние. А потом их снова переименовывают. Более того, ежедневно меняется сам облик города. На месте проходных дворов оказываются тупики или неожиданно появляются знаки, запрещающие вход. Зачастую на месте знакомого тебе дома обнаруживается куча покрытых сажей, дымящихся обломков. Военное положение обязывает к перманентной перепланировке кварталов. Порой целые районы превращаются в горы руин. Но уже через неделю на их месте обнаруживаются ряды новостроек, свежих декораций. Наверняка, это имеет прямое отношение к махинациям с недвижимостью. Улицы переплетаются друг с другом, меняются местами, и все, что тебе остается – это продолжать свое бессмысленное блуждание по лабиринту. Ищешь ли ты выход или только убежище? Трудно сказать, ты и сам стал забывать о смысле своих прогулок. Куда больше тебя заботят постоянные преследования торговцев и полицейских. В какие бы трущобы ты не забрел – от них нигде нет покоя.

Даже во время бомбежки они умудряются доставать тебя. Вокруг их настолько много, что ты уже стал путать приторговывающих полицейских с полицействующими торговцами. У всех у них желтые глаза. В их руках лопаты.

Спектакль расценивает подлинное искусство если не как порок, то, по крайней мере, как нечто противоестественное, максимально приближенное к сфере безнравственного. Художник в мире спектакля беден, болен и изможден. Иными словами, проклят. Вполне логично, что его постоянно одолевают чувства изолированности и опустошения, нервное раздражение, неуверенность и экзистенциальный страх. Нищета, одиночество, сумасшествие и смерть – вот те варианты развязки, из которых он может выбрать наиболее предпочтительный. Быть художником – значит терпеть провал. Так повелевает сценарий. Чтобы выжить, художнику необходимо иметь свой собственный катехизис революционера, без него не обойтись. Только он превращает слабость в предельную силу. Пункты таких психологических катехизисов могут варьироваться, а их количество никем не утверждено – каждый вправе решать сам, из каких параграфов будет состоять его внутренний ультиматум. Но факт в том, что без катехизиса художник неизбежно трансформируется в манекена. Художник – это солдат. Он должен обладать незаурядной внутренней силой, чтобы не бросить игру.

Но подлинная трагедия художника в ином: он не способен остановиться в своем поиске присутствия. Найдя дверь, он никогда не зайдет внутрь. Его присутствие навсегда останется незавершенным. Родившись, он не сможет поверить в рождение. Просвет кажется ему более ценным, чем сияние. И он готов к вечному проклятию бессмертием, осмеянию и позору. Он осознает, что обречен на прелюдию.

Слепой зрачок фонаря мерцает за катарактой мглы. Мой последний маяк. Ботинки месят помой облезлых сугробов. Согробов. Чья-то щедрая рука сыплет с неба новые горсти белого снега. Огрызок сердца гниет в груди. Его стук чем-то сродни икоте и так же неожиданно прекращается. Зеркало дает еще одну трещину каждый раз, когда я заглядываю в него. Я заклеиваю стеклянные раны скотчем.

Серый полусумрак ока. Стук костылей по льду. Смех мерзлой земли. И одновременно – слякоть ее же слез. Кто так настойчиво пытается заключить в плоть тень моего безумия?

Игнатий как-то произнес одну фразу, а мне почему-то не захотелось возражать – «Настоящие романы рождаются после тридцати-тридцати пяти прожитых лет. Больше людей должно умереть вокруг».

Эта поездка будет последней серией занудного телесериала. Убирайте трап!

Шепот страха, шорох сострадания, хруст одиночества. Что это? Паук на твоём лице...

Зола – мой прокурор. А единственный свидетель со стороны обвиняемого – ветер. Последний свидетель. Он сдувает золу с моих сомкнутых век. Но он дует всё слабее и слабее.

Да, это почти дневник. Дневник, вывешенный на разгул ураганам. Отзвук осколка, павшего на оледеневшую землю. Дневник-поэма. Дневник-пьеса. Дневник-роман. Дневник-прелюдия.

Выход.

Выдох.

Взгляд.

Крик.

Я возвращаюсь в себя.

Убирайте же трап!

Превращение в пса – самая изнурительная фаза эволюции пассажира. И вот она наступила. Я превращаюсь в тот самый кошмар, который когда-то одолевал мое детское сознание. Вгрызаюсь в это беззащитное воспоминание о самом себе, чтобы разорвать его на части, уничтожить, стереть из недр мозга. Обрастаю колкой шерстью, скалюсь, скребу когтями мерзлую землю. Но вдруг выясняется, что пес вовсе не так зол и силен, как я это представлял. Наоборот – он изнурен, голоден, ободран. Ему холодно, он виновато жметя к стенам, освобождая тротуар для суетящихся прохожих, скрывая затравленный взгляд. Шаркающей походкой он куда-то плетется под холодным дождем на своих неуклюжих лапах. В его глазах читаются растерянность и мольба. Он вовсе не страдает бешеным. Куда больше его заботят гноящиеся лишаи, расстройство желудка и кровотокащая царапина на боку. Он хочет спать. И еле слышно рычит. Чтобы усмирить его, вовсе не потре-

буются ошейник и цепь. Он и так еле живой. Пес с картины Дюрера. Его глухое рычание всё чаще переходит в тихий жалобный вой. Теперь ему уже не удастся скрыть купающиеся в слезах глаза. Нелепая попытка уничтожить старые воспоминания – вот всё, на что ему хватает сил. Но они по-прежнему сверлят его изнутри и не хотят умирать. Они сильнее, чем он. И он продолжает плестись. На его шею болтается серебряный ошейник с изъеденным ржавчиной маленьким крестиком.

Окна квартиры выходят в накрытый небом довольно просторный двор. Там – детская площадка и даже растет несколько деревьев (каким-то чудом они выжили). Всё пространство до горизонта заполнено бетонными постройками. У меня нет никаких оснований для того, чтобы чувствовать себя плохо.

В моей квартире почти нет мебели, но я уверен, что она заросла бараклом. Я не люблю вещей. Даже книг у меня всегда было не так уж много. Только самые необходимые, остальные я брал у знакомых и в библиотеках. Иногда мне кажется, что я без эмоциональных всплесков смогу перенести тюремное заключение. Я почти готов к этому. Жаль только, что не смогу печатать.

Симфонический оркестр, особенно издалека, в первую очередь – струнная группа, и, прежде всего, в момент настройки, когда каждый играет что-то произвольное, напоминает кучку копошащихся, теребящих лапками насекомых. Никакого удовольствия от музыки исполнители уже давно не испытывают, наоборот, для них это рутинная работа, и потому – чем незамысловатее будет аранжировка, тем спокойнее, тем меньше проблем. Разумеется, от их первоначальной увлеченности музыкой (если она вообще была) с годами не остается ничего, иногда она заменяется технической компетентностью. Обычно же музыканты оркестра играют в лучшем случае треть того, то написано в партитуре, надеясь, что некачественность их индивидуального исполнения будет не столь сильно заметна в общей массе. Исполняя свою партию, они мечтают о том, чтобы поскорее был объявлен перерыв, и тогда они что есть сил рванут к столику, на котором разложено домино. Стучать костяшками об стол – вот это им действительно нравится.

Как ни парадоксально, но работа в музыкальной студии имеет не так уж много отношения к музыке. Та совокупность натужно извлекаемых звуков, которая выкашливается трубами, фаготами, альтами, английскими рожками, валторнами и еще несколькими десятками музыкальных инструментов имеет куда больше отношения к ремеслу. Музыку больше не сочиняют, ее мастерят, ее смысл стремительно улетучивается.

Оркестр – это миниатюрная копия общества со всеми необходимыми атрибутами авторитаризма и демократии, в полном соответствии с диалектикой господ и слуг, со всем набором сплетен и интриг, угодливых кивков и завистливых упреков. Механические куклы, выполняющие свою функцию, подчиненные законам карьеры и конкуренции. Мир музыки ничем не отличается от остальных сфер общественной жизни, отношения здесь построены на лжи, лицемерии, подлости и жажде наживы. Это мир арендаторов, ростовщиков и процентщиц.

Нарастающий низкочастотный гул. Хаос ночных джунглей. Грохот станков. Вой пожарной сирены. Пульсирующий свист. Телефонные звонки. Громогласные аккорды церковного органа. Многотысячная толпа скандирует: «Хайль!» Колокольный звон. Шум автомобильной сигнализации. Истеричные женские вопли. Паника. Пульсирующий свист. Гром. Непрекращающийся низкочастотный гул. Сквозь него пробивается пение муэдзина. Мягкий шум дождя. Кваканье лягушек. Скамейка. Тусклый фонарь.

Брызги слякоти. Человеческие лица. Он сосредоточенно, почти жадно, вглядывается в них. Зачем? Что он хочет увидеть? Может быть, пытается выявить знакомые черты? Вполне возможно. Наверняка именно так оно и есть. Девяносто процентов из ста. Но в таком случае он совсем не преуспел в этом. Все они растворяются друг в друге. Он не узнает никого из них. И продолжает шуриться. От этого кружится голова. Мертвый воздух. Жук теребит лапками. Ледяная слепота. Размокший мозг силится собрать происходящее воедино. Получается скомканный клубок из червей. Шевелящийся сгусток вен. Катится по тропинке. Я – за ним. А что остается? Слова блекнут. Мысль гнилой нитью натужно старается не оборваться. Как будто от этого хоть что-то изменится в ее несостоятельности. Конечности

сковывает какая-то необъяснимая усталость, непостижимое безразличие. Темнота. Кончено, ну конечно. Бродяга ползет по заснеженному полю. На его бороде – изморозь. Не от дыхания, от слез. Локти и колени проламывают тонкую корку и проваливаются в холодную мякоть. Вмятость сна. В кому. Он ползет по направлению к лесу. К лесу? К какому? А где он находится? Мне неизвестен ответ на этот вопрос. Или сам вопрос поставлен некорректным образом? Нет, образ не может быть некорректным, образ – это образ, и всё. Либо это уже что-то еще. Образ не судим по вашим законам, по вашим образам. Он не закончен, не канонизирован. Только он у меня и остался. Последний союзник. Он не будет раздавлен этим прессом. Стоп! Речь шла о вопросе, не о прессе. Пресса меня никогда не интересовала. Нет ничего бессмысленнее... Особенно сейчас, когда я не в силах пошевелить ресницами, ежесекундно простреливаемый электрическими молниями боли, разбившейся на тысячи осколков, боли, отдающейся даже в волосы, распластался на смятом одеяле, корчусь, заламывая руки. Лицо перекошено в зловещей гримасе. Грудь расщепляет сухой, удушливый кашель. Слово кто-то лопатой рассекает кусок глины. Я подвешен на растянутых вдоль стен веревках, запутан в окровавленной паутине собственных кишок и сухожилий. Мое тело полностью искалечено, оно больше мне не принадлежит: переломанные кости и вывихнутые суставы, острые ребра и вздувшиеся вены, распухшие мозги и клоушьа кожи, – всё повисло бесформенным клубком над пропастью пустой комнаты. Под потолком каркают вороны. Я слабее издыхающего пса, беспомощнее больного на операционном столе. Бессильный зритель того, что происходит с моим собственным существованием. Мертвец, пытающийся продлить память о себе. Напоминаю выжатый тюбик от зубной пасты, который почему-то забыли выбросить. Легкая добыча для крыс, червей и мух. (Кстати, ночью мне снились отвратительные зеленые мухи и мелкие муравьи. Их было так много – на земле, на асфальте, на стенах, повсюду. Еще я помню старый подъезд дома, в котором раньше, очень давно, жил, он время от времени мне снится. Этот старый лифт с железной дверью, которую нужно захлопывать

самому. Она громко скрипит, и гул отдается эхом по этажам. Темная лестница. Ступени расколоты. Скрип. И дверь с разбитым стеклом. От этого становится страшно. Повторяющиеся сны ужасны. Нет ничего страшнее, чем детство.) Жук начал вгрызаться. Меня знобит. Пальцы пронизывает холод, они становятся ледяными, но кажется, что могут легко сломаться, как гипс. Я уже слышу их тихий хруст. Промозглый холод сочится из замочной скважины. Это происходит каждый раз, когда соглядатай моих снов отрывает от нее свое око. Выходит, его подглядывание спасает меня от смерти. Может, зря я его ненавижу? Что ж, у меня есть выбор: находиться под надзором или замерзнуть. Это жуткое ощущение холода, чувствуешь, как он всё глубже и глубже проникает внутрь, заполняя всё твое естество. Ты промерзаешь насквозь. Под коркой изможденной усталости – пустота. У меня нет сил, даже чтобы покончить с собой, моя плоть не подчиняется мне. **Плоть превратилась в грязную жидкость, бесформенно растекшуюся повсюду вокруг кровати. Ее нужно каким-то образом собрать, специальным совком или сухой тряпкой. Да-да! Сухой тряпкой! Это то, что нужно! Мой дух, разумеется, напоминает собой безжизненную тряпку, но никак не сухую, наоборот, он насквозь пропитан холодной влагой и не способен более впитать ни капли. Сначала его необходимо выжать. Выжать до последней слезы. Выживет ли он после этого? Могильный свет просачивается сквозь пыльные занавески, тянет ко мне свои костлявые руки, но никак не может дотянуться. Ему бы клюку какую-нибудь, так уж точно бы смог огреть меня ею по голове. Согреть меня. Только так. Там наверху, надо мной что-то происходит, пронзительное сверление сменяется ударами молотка по полу. По потолку. Колокольный звон. Кажется, вот-вот, и люстра упадет мне на голову. Они имеют на это право, сейчас еще только полдень, но даже если б и не имели, это ничего бы не изменило, разве у меня хватило бы силы воли подняться и пойти скандалить с ними? Только полдень, неужели это будет продолжаться до позднего вечера? А завтра, всё сначала? Бесконечная ночь. Что я здесь делаю? Вопросы сочатся сухим песком сквозь иссохшее сито моего мозга. Сыплются градом. Накрыл голову подушкой,**

но это не помогает. К тому же работает телевизор – выплескивает прямо в комнату нескончаемые извержения помоев и брызги блевотины, пульт остался на столе, какая досада, сейчас мне уже не достать его, а я всего лишь на секунду включил, чтобы узнать, началась война или нет. Теперь я вынужден слушать, как кто-то назойливо шутит. Овальное лицо источает чужой неприятный смех. Фейерверки острот и каскады анекдотов. А толстые сверла, между тем, всё глубже проникают в мой череп, наверное, у меня крепкие кости, их сразу не пробьешь, гвозди в мои мозги, всё больше, всё больше. Сперва просверливают отверстия, а потом вбивают в них гвозди. Некоторые сверла ломаются, работа требует усидчивости. Гвозди. Скоро череп будет оббит ими целиком, не останется ни одного свободного сантиметра, и тогда он превратится в стальной панцирь. А когда же, наконец, он треснет? Позвольте ему это, умоляю. Пора избавиться от разума. Выбросить этот холодный хомут. Но попытка не остановится. Они не прекратят ее. Я ГОТОВ ответить на все вопросы, выдать любую тайну, предать кого угодно, на коленях просить пощады, лишь бы остановить это, лишь бы от меня отвязались, но они не задают вопросов. Им не нужна информация, и я не знаю, что им нужно. Похоже, что ничего. Они ничего не требуют, просто продолжают загонять гвозди в голову. Попытка бессмысленна, в этом главный ее кошмар. Я в полузабытьи, что-то среднее между сном и реальностью. Тону в шуме. В разум входит ночь. Тук-тук! Я втиснусь? Места достаточно? *Мокрая древесина крошится. Ремонт будет продолжаться вечно. Теряю сознание. Меня преследуют галлюцинации человека, страдающего страхом. Чей-то надтреснутый голос. Он мне знаком, я часто его слышу, постоянно что-то болтает. Мне хочется верить, что однажды он смолкнет навсегда. Заткнись же хоть на миг! Нет, он снова продолжает мямлить свою белиберду. Если и пропадет – то совсем ненадолго, и тут же возобновится, можно не сомневаться, что он через секунду вернется, что это лишь подлые уловки, лишь издевательства. С кем он разговаривает? Со мной или с кем-то другим? Может, я лишь подслушиваю что-то, предназначенное вовсе не для моих ушей? Да-да. Он говорит с другим. И, судя по всему, говорит обо мне. Утверждает, что это именно я мешаю ему говорить. Говорит, что хотел бы избавиться от меня. Но кроме меня здесь никого нет. Значит, все-таки он обращается ко мне? Но почему он говорит*

«в сторону»? И почему же за всё это время он не удосужился поведать о том, где я нахожусь? О чем же он тогда говорит? Это смешно, но я не могу повторить ни слова. Могу лишь скопировать его манеру... Погодите, так это же хорошо известные мне интонации. Это следы моих ботинок. Ну, конечно. Я просто научился слушать себя со стороны, так забавно отстраняться от разговора, но подлежат вести диалог. Я уже привык. Подлежащее лежит под сказуемым, а сказуемое – не подсказка и тем более не присказка, так как еще не высказано, оно вовсе не подлежит сказу. Сказ – подо льдом. Зарыт под лед. А может быть, это кто-то умело имитирует мои высказывания? Водит меня за нос. Продолжает бормотать свою бессмыслицу. О да, он оказался еще хитрее, чем можно было себе представить. Он хочет убедить меня, что это мой собственный голос. Он хочет всучить мне свое лицо. Пытается убедить, что оно мое, что это я сам когда-то на время передал ему эту маску из человеческой кожи. А теперь пришла пора вернуть ее назад. Но зачем ему это нужно? Чего он добивается, рассказывая мне обо мне самом? Кто из нас существует – он или я? Я никак не могу в этом разобраться. Голос проходит сквозь меня, действует как вколотое снотворное. Неприятно, искусственно убаюкивает. Тошнота и головокружение. Знаете, как это бывает? Это вполне возможно, я это допускаю. Человеческие голоса вообще похожи. Но как выяснить, правда ли это? Он часто меняет тембр, с шепота срывается на крик, то оплакивает, то осмеивает меня, кривляется и паясничает с могильной серьезностью. Танец скорби, исполняемый профессиональным плакальщиком. Нет, наверно, я всё выдумал – и голос, и себя, и другого. Всего этого никогда не существовало. И голос этот не принадлежит никому. Но возможно все-таки, что это я сам. Вдруг я все-таки существую. Вполне, вполне возможно. Во всяком случае, очень похоже на то. Наверняка, это так и есть. Несмотря ни на что, я это допускаю. Хотя, безусловно, надо постоянно подвергать это сомнению. Да, да, необходимо в этом сомневаться, только так, только так. Тем более что я уже некоторое время не слышу совсем ничего. Молчание тишины. Теперь мне хочется, чтобы он всё-таки время от времени говорил хоть что-то. Иначе страшно. Но он нашел лучший способ издевательства – молчание. Молчание сцементировало душный воздух. Я уже готов умолять. Хотя, может быть, у меня что-то произошло со слухом. Лучше

так думать. Так спокойнее. Но всё равно страшно, ведь доказательств нет. А тем временем тишина становится еще тише, еще мертвее. Но я же сам хотел тишины! О боже! Слезы. Снег. Снова знак вопроса. Вот он, вопрос. Только попробуйте после этого сказать, что в моих рассуждениях нет стержня. Так вот, вопрос. Огромный как пропасть. Жирная точка под ним. Яичный желток солнца. Хочется проткнуть его иглой, чтобы он стек по белому стеклу, став равновеликим отражением того, что там – сверху. Укол в висок. Жук точит дерево. Кто заберет меня домой? Я – школьник, заблудившийся в бесконечном супермаркете. Но я не помню домашнего адреса. И понятия не имею, кто привел меня сюда. Я попался на ржавый крючок перевернутого вопросительного знака. На спусковой крючок. Наверное, кто-то задал вопрос по-испански. Куда вы тащите меня? Я снова в смятении. Сны снова смят. Наизнанку вывернулся. И вернулся нервом. Вор. Разорван. Всё верно. Всё ровно. Всё равно. С внутренней стороны моих щек налипло множество мелких улиток, слизней, пиявок, мокрых насекомых. Таких, как тогда – во сне, в старом подъезде. Нет, я путаю, там были мухи и муравьи. Впрочем, какая разница? Они едва заметно ползают по изогнутым стенкам, толкут мокроватую гниль. Пытаюсь проглотить их, но они снова возвращаются. **Из пещеры рта разит затхлым холодом.** Захочешь ли ты поцеловать меня, узнав об этом? Пожалуй, не буду рассказывать. *Молчание здесь лучший выбор. Объективно лучший.* Толпа. Падающий снег. Жук продолжает прогрызать нору, упорно пробивает путь. Вперед по коридору. Плевок неба потушил мерцание окурков моих подслеповатых глаз. Болото засасывает ступни ног. Я в грубу города. Давка в подъезжающем автобусе. Он до отказа набит рабочей силой. **Молчание скота на бойне. Скрип тормозов. Автобус изрыгает через разинутый рот дверей грязно-коричневую людскую массу. Утренняя бегодня. Вой сирен. Мутные потоки. Мыши шныряют из норы в нору. Зубастые шестеренки адской машины вращаются.** И скрипят как дверь лифта в подъезде. Бульканье воды в клозете. Что за оживление? Что изменил этот день, чтобы так суетиться? Черт побери, опять вопросы! Сколько можно? Они обступили меня крючковатым час-

токолом. Извиваются и шипят, словно змеи. Удушающий шепот. Хватит уже задавать их, ответов всё равно не будет. Но я продолжаю спрашивать. Разве я испытываю в этом потребность? Зачем же тогда я это делаю? По привычке? Или это меня спрашивают? Кто? Кто ведет следствие? По какой причине? Или это самодопрос??? Я вконец запутался. Но ответов в любом случае не услышать. Или это такая форма ответов? Ответы в форме вопросов. Новая выглаженная форма. Стрелочка к стрелочке. Пуля к пуле. Все наряжены в одну и ту же безликую форму. Их обезличили, не закрыв лиц. Кто сделал это? Я сам? Вздор! Молчание, все-таки мертвое молчание – вот то, что мне нужно! Без сомнения! Самая адекватная реакция. Но я продолжаю отвечать, словно примерный ученик, зазубривший урок. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, а как же иначе? Встал-сел, белое-черное, мужчина-женщина, небо-земля, один-два, день-ночь, добро-зло, хорошо-плохо, да-нет, я-ты, он-она. Сдохни! Суматошные тени месят тесто снежной слякоти. На самом деле, они никуда не бегут, они застыли в самых нелепых позах, даже не подозревая об этом. Не существует ничего гротескнее реальности. Оледенелый воск. Всё как обычно. Всё нормально. Так, как оно должно быть. В своем первоизданном виде. Ничто не способно потревожить их покой. Им ничего не интересно друг в друге. Только выгода. Только прибыль. Смысл нашего существования в порабощении друг друга, враг врага. Дружба! Биржа! Ржа! Дружба! Биржа! Ржа! Дружба! Биржа! Ржа! Хайль! Хайль! Голодные собаки будут жадно разрывать мясо. Рычать и лаять, истекать слюной и кусаться, чавкать и скулить, вырывать кусок из соседней пасти. Твое мясо. Твою душу. То, что было тобой. Кто-то подбегает ко мне. Торговля, нет, еще хуже – благотворительность. Проворная притворность. Девушка оживленно что-то повествует мне. На ее глазах – прозрачная липкая пленка, совсем как на новых жидкокристаллических экранчиках, словно чешуйчатая пенка на молоке. Она так и не сорвала эту защитную клейкую ленту, этот аккуратный камуфляж слепоты. Липкий глянец гнильцы. Ее механическая улыбка совсем не сродни моей механике меланхолии. **Топчу ногой эту слякоть. Не приближайтесь ко мне! Да, во мне уже не осталось сострадания! Я также проигнорирую ваше одиночество, как и вы мое. Я обнажу**

вашу боль, которую вы тщетно старались прикрыть. Выставляю ее на всеобщее обозрение! Превращу ее в мишень! Ты оглохнешь от раскатов моего истерического хохота! Мне необходимо терроризировать Тебя, и я буду с неизменной последовательностью, с неуклонным постоянством наносить Тебе яростные удары, Ты не сможешь ни задумываться над происходящим, ни осмыслить его, у Тебя не будет ни секунды, чтобы выйти из смятения или собраться с силами. Я уничтожу всю Твою власть. У Тебя не останется ничего! Представляешь, Ты только вдумайся – **НИЧЕГО!** Может быть, хотя бы тогда тебя прошибет холодный пот! **Вот это и будет свободой.** Поставьте галочку на полях! Взаимопонимание мертво. Если вообще мы можем позволить себе сказать, что когда-либо имели дело с ним, а не с липкой маской. Мы сами делаем всё для того, чтобы уничтожить его остатки. Как рыбки поглощают сухой корм. Сухой корм существования. Дело – лед. Мы идем по следам льда. Они невидимы. Только ощущение холода выдает тропу. Витрины. Гнилостный запах льда. Вы все на ледяной витрине. Тычетесь мордашками в толстые стекла. Манекены. Карлики в колбах. Несмываемая копоть. Вот ваша слава. Слава и Власть. Они так же сильно похожи, как крест и свастика. И так же легко меняются ролями. Разница – лишь в нескольких черточках. Не подходите ко мне! Не приближайтесь! Я сам доберусь до дома. Я хочу покинуть сцену. Я озлоблен. Я сейчас исчезну. Мне легче без вас. Гораздо легче. Без чужого запаха. Без запаха больницы. Без стерилизованного покоя. Легче, но не настолько, чтобы забыть. Забыться. Быть за себя. Быть против. Воздержаться. Расщепление сознания. Но зачем эта нелепая приставка? Она не несет в себе индивидуального оттенка. Совсем наоборот. Значит, не надо его щадить? Необходимо зарыться глубже. Под корку. Провалиться в мякоть. Быть погребенным. Выходит, мне нужно подсознание. Странствия по самым тайным закоулкам, по грязным захолустьям. А без сознания не обойтись? Бес-сознательное всегда рядом? Так-таки и всегда? Я попаду под кристальный дождь катарсиса. И только тогда забуду. Я должен постичь всю Весну. Неужели только такой ценой? Почему вообще за это нужно платить? Наверное, у меня не будет детей. У таких, как я, их не бывает. Это и будет расплатой. Но мне хочется, чтобы у меня были дети. Зачем? Вопросы. Одни и те же старые вопросы. Я продолжаю вслушиваться в них. Я уже

привык к ним. Мне кажется, что я даже готов к тому, чтобы полюбить эти вопросы. Ведь только они подпадают под определение моих «близких». Кандалы, обвивающие мои конечности. И я знаю, что вся эта бесконечная вереница вопросов неминуемо подводится под один единственный общий знаменатель. Но я уже не хочу знать ответ. Я уже не верю во внезапное чудесное освобождение. Дождь. Шершавый дождь. Капли ударяются о сухие пожухлые листья. Я не хочу быть человеком, ни за что не стану им. Все, что угодно, только не это. Я не стану жить вашей жизнью. Этого вы не дождетесь. Нет, нет, нет! Всё это ложь! Наглая, пошлая ложь! К тому же приправленная претенциозной плесенью утонченности! И мне прекрасно известно об этом, просто каждый раз я делаю вид, что ничего не замечаю, будто бы всё в норме, а я вовсе ни при чем. Как мне не надоело еще лгать собственному представлению о себе?! Этой глупой выдумке, которой на деле никогда не существовало! Сколько можно этих «по крайней мере, я не...» или «я хотя бы не...»? Я всерьез вообразил что-то?! Сколько можно притворяться? Весна не наступит. На этой планете нет такого времени года. Его придумали священнослужители. Сколько еще мы будем кормиться этим? Мое сердце точно так же проткнуто ржавой иглой. Вот он, истинный стержень моих рассуждений. С него еще капаят красные чернила. Ошибки исправлены. Свежая могила для горбуна. Мертвой бабочкой сердце распято под стеклом. Сухие крылья недвижимы. Я тоже на витрине. Но кто же тогда снаружи? Кто эта сволочь по ту сторону ледяного стекла? Я даже не могу разглядеть этих лиц. Они по-прежнему сливаются в одну расплывчатую массу. Словно воск, стекающий по стволу свечи. Там, в углу. Да-да, посмотри скорее. Золотистые пыльные портьеры. Хочется вернуться в них, спрятаться. Незаметно ни для кого. Тихо, тепло. Но нет, шторы наверняка не выдержат и оборвутся. Непременно. Они же не предназначены для этого. А я рухну на пол. Я именно для этого предназначен. Я уже слышу, как все сбегается, собираются вокруг обломков карниза, слышу топот уготовленной расправы. Безобразия! Хулиганство! Подонок! Ему нет прощения! Выставить его за ворота! Немедленно! Точно, всё будет именно так. Вот это правда. Это привычно. У них есть все необходимые полномочия, чтобы начать суд. Все фор-

мальности давно соблюдены, все документы выверены, все подписи собраны, все печати проставлены. Никто не даст тебе заниматься тем, чем ты хочешь. Особенно, если тебе хочется чего-то не того, что нужно хотеть. Если ты вообще еще хочешь чего-то, счастливее, если не разучился хотеть. **Импотент, твоя жизнь предопределена. Заводская заготовка, форма для тебя уже отлита.** И она невероятно напоминает гроб. *Впрочем, у тебя есть хотя бы это укрытие. Хотя бы это. Ты надежно защищен от своих потребностей. Может быть, так и легче. Может быть. Скорее всего. Даже наверняка. Без сомнений.* Что до меня, так я в полном порядке. Полон сил, парю над засеянным мягкой травой полем. Повсюду свист и гам. Я в центре всеобщего внимания. Тысячи глаз следят за мной. Меня пинают ногами десятка три горилл. Я – футбольный мяч. Ребенок, стоящий в центре людского круга. Грязные гадкие руки толкают его, хватают за волосы, пихают из стороны в сторону. Но вот снова тишина. Я лежу на залитой светом поляне, слушая шелест травы. Головы высовываются из-за деревьев, из дупел, они свисают с ветвей. Веселые арлекины. Откуда-то все они знают меня. Я недооценивал свою популярность. Карлики дразнятся, кричат, посвистывают. **Вспомни нас! Мы не оставим тебя и здесь, на небесах! А ты как думал? Ха-ха-ха! Пятерни приставлены к носам. Мне жутко от этих ангелов-стервятников. А что это они прячут за спиной? Бритвы, иглы и лопаты. После смерти тебя ожидает нечто ужасающее. Кошмар не прекратится. Что я вам сделал? Лекарство, найдите лекарство! Оно должно быть! Вон там, под кроватью! Ну посмотрите получше! Пожалуйста! Наверняка там! По-моему, я случайно уронил его на пол и оно закатилось туда. Нет, уберите это! Я не возьму его из Ваших рук! Сгиньте прочь из моей памяти! Вы склонились над моей постелью. Да, я умираю. Вы правы. Задушите же меня резиновым жгутом. И побыстрее. Время вышло. Совсем? Может, еще пять минут? Время вышло.** Твое лицо забрызгано кровью. Моей кровью. Прости. Я не слышу своего дыхания. Слезы не тают на моих щеках. Глаза почернели. Зрачки съежились. Смятый носовой платок. Иссохший взгляд. Я ничего не хочу. Кулак отчаяния сжат так сильно, что в нем нет ни крупинцы воздуха. Ни глотка надежды. Я задыхаюсь. Бросьте меня в мешок для мусора и вышвырните в грязный кон-

тейнер. **И сожгите! Сожгите скорее! Немедленно! Мертвую черную птицу, иначе они склоют меня.** Сожгите, чтоб я не достался никому. Разрешите мне умереть. Посолите лунным инеем словославную листву. Пламя спички разрастается во вселенский пожар, в огромную пятерню, которая через секунду сожмется в кулак, и ты окажешься внутри. Ты даже не заметишь, как превратишься в пепел. В одно мгновение. Твоим пеплом Он посыпает Свою голову. Зольник золака. Не золотой, траурно-серебристый. *Ребенок, запертый в темной комнате. Ты один и тебе страшно. Ты очень тяжело болен. Ты сходишь с ума. Причем не сказать, что это происходит медленно. Ты сходишь с ума со скоростью звука. Звуча скрипящей двери. Той самой двери. Гул носится по лестничному пролету. Вверх-вниз, вверх-вниз. Бесконечно долго. Стекло разбито. Мама, смотри, я нашел камушек, посмотри какой! У меня нет времени. Ну, посмотри. Я занята. Ну, пожалуйста... А ты сделал уроки? До сих пор нет? Выходные, между прочим, уже закончились! Темнота, душная темнота. Она уже становится привычной.* Всё серьезней, чем ты полагал. Жук грызет трухлявую древесину, упорно стачивает миллиметр за миллиметром. Острые опилки рассыпаются мелкой щепкой, мокрым древесным песком, черными гнилыми занозами, но совсем не они нужны насекомому. Он ищет чего-то еще. Трудолюбиво шевелит лапками. Он знает, что ему нужно, и он не отступится от своей цели. Скоро он проникнет сюда, вовнутрь моего разума. Жук-могильщик... Где те, кто был мне дорог? Почему все они мертвы или умирают? Наверное, они были слишком живы. Их существование еще не наступило. Когда ледяной ветер бьет прямо в лицо, хочется закрыть глаза; это ужасно глупо, ведь метель не прекращается, но почему-то становится легче. Я умру зимой. С детства имел эти сведения. С детства. Зачем я пишу это? Только ты знаешь. Мне хочется так думать. А ты можешь и не подозревать об этом. Пунктир моей мысли становится всё более блеклым. **Время вышло. Провожаящие должны покинуть состав.** Что-то горит? Вы не чувствуете запах паленого?

Иногда твои слезы кажутся мне сладкими. Вот сейчас тоже.

Так забавно отчаяние боязни. Ужаса безвозвратной утраты. С упоением умирающего ты продлеваешь последние дни, силишься не рассыпать осколки утешения. И даже не

смеешь уже мечтать об обретении. Влюбленность всегда невероятно целомудренна.

В окна кухни снова смотрит серая весна. Надменный надзиратель. Серое тесто снега расплзается сморщенной потрескавшейся маской. Кажется, что кто-то выплеснул скисшее молоко, смешанное с мукой, прямо на землю. Липкая вязкая жвачка, присасывающаяся к подошвам. А еще этот последний снег напоминает паутину облаков при посадке самолета. Лед тает как воск, и холодные капли, в которые он перерождается, обжигают не меньше, чем стекающие по фаллу свечи, переливающиеся от ее тусклого зеленоватого света, моментально застывающие на коже восковые росинки. Слизни сугробов мертвой кожей сползают по тротуарам, оголяя отверстия буро-черные раны. Бледные останки зимы обнажают всё накопленное – окурки, пробки, мусор, собачьи экскременты. Игнатий сравнил весну с половым созреванием, непропорциональным развитием подростков и неизменно налитыми гноем сталактитами фурункулов. Я его встретил неподалеку от помойки. Он как раз туда и направлялся. С небольшим пакетом в руках. Шел выбрасывать подарки.

– А что за подарки?

– Да, вот колокольчик и чашка. У меня вчера день рождения был. Ненавижу просто, когда всё это дома скапливается. Еще в детстве, когда мне что-нибудь дарили, я тут же начинал топтать подарки ногами и испуганно кричать.

Единственное, что я люблю в весне – это запах подожженной прошлогодней травы. Мальчишки ежегодно жгут сухие лохмы соломы. Но это – чуть позже, сперва снег должен окончательно сойти. Говорят, что из-за поджогов большинство новых ростков погибает, а выживают только сорняки. Сворачивающиеся плешивыми оселедцами, каким-то чудом они спасаются от огня. Но я всё равно люблю этот пережженный запах. Это запах пожара.

– «Примерь мое лицо»? Что ты имеешь в виду?

– Мне оно больше не нужно. Может быть, тебе пригодится (*дрожащими руками протягивает мягкую маску с прорезями для глаз*)...

– Но здесь (*берет маску*) ... Здесь же нет прорези для рта.

- А она не нужна. Тебе не придется говорить.
- Даже чтобы отвечать на вопросы?
- Вопросы будут. Даже очень много, но никто не станет ждать от тебя ответа. Да и тебе никогда не удастся его найти. Но зато у тебя будет лицо.
- Но ведь это твое лицо. Все будут считать, что это не я, а ты. А тебя будут принимать за меня.
- Да, это станет нашей тайной.
- А будет ли мне уютно, вдруг оно мне не впору?
- В самый раз, ты даже не почувствуешь разницы. Просто твой череп будет обтянут серебристой пленкой, и ты станешь немым. В остальном же ничего не изменится.
- Способность произносить слова станет платой за вход?
- Да, выбирай: иметь лицо, но молчать, или быть безликим пророком.
- В этом вся загвоздка, пока у тебя нет маски, тебя никто не станет слушать, но едва ты ее надеваешь, как сразу теряешь способность связать два слова.
- Решайся.
- А почему ты хочешь избавиться от лица?
- Оно давно потеряло для меня смысл. К тому же, на самом деле, эти личины еще больше обезличивают нас. Они слишком похожи друг на друга. Для меня все эти лица давно слились в одно – покрытую инеем маску из пленки.
- Какой пленки?
- Кинопленки. Той, что заряжают в камеры.
- А ты что-нибудь знаешь про киновоюну?
- Гораздо больше, чем ты думаешь. Пулеметы камер, обмотанные перфорированным серпантинном. Свист кадров-пуль ни на секунду не прекращается. И изображения вокруг нас перетасовываются, сменяют друг друга с умопомрачительной скоростью.
- Меня всегда интересовало, что происходит с гильзами – с отснятой пленкой.
- Как правило, ее складировуют. При правильной температуре отснятая кинопленка хранится достаточно долго. Но обычно эти условия не соблюдаются, и лента быстро портится, начинает осыпаться кофейной пылью. И когда поднимается ветер, целые тучи кинопеска вздымаются над потрескавшимся асфальтом. Я не могу понять только одного: зачем вообще хранить ее на складе, если никто никогда не смотрит отснятый материал? Для пленки существует

только настоящее время. Уже через секунду никто не помнит ни кадра из предыдущего мгновения.

– Мне известно, что в редких случаях, в дни кризиса, ленту используют вторично. То есть на уже отснятый материал накладывают новые кадры. Я многое бы отдал, чтобы посмотреть такой фильм.

– Поэтому ты и хочешь отнять мое лицо?

– Отнять?! Это было твое предложение!

– Мое предложение?! Да ты же сам вырвал это лицо из моих рук!

– Ловко же ты умеешь выворачивать всё наизнанку (*швыряет в него маску и уходит в темноту*)!

– Ну что ж, стоит запастись терпением... Впереди несколько десятилетий безмолвия (*посмеиваясь, натягивает пустоглазое лицо и уходит в темноту*).

Витрина подобна прозрачной линзе. Ее стекло, как зеркало в комнате смеха, ужасно искажает изображение. Прохожие никогда не видят того, что происходит на витрине в подлинном виде. Они способны разглядеть лишь искаженную карикатуру. В этом круглом аквариуме пропорции рыб нарушаются, они превращаются в каких-то хвостатых чудовищ с огромными, торчащими в разные стороны жабрами. Всё приобретает преувеличенно раздутый характер или наоборот – уменьшается до размеров микроба. Но в любом случае утрачивает подлинность.

Искусство спектакля должно развлекать или расслаблять, но ни в коем случае не тревожить или вызывать потрясение. В идеале оно вообще не должно оказывать сильного эмоционального воздействия, выполняя функцию однотонных обоев, являющихся неотъемлемой частью декорационного иконостаса. Культура спектакля представляет собой некую однородную среду, внутри которой всегда выступают раз и навсегда установленные структуры и типы, внутри которой все альтернативные идеи дискредитированы, все «утопии» уничтожены. Индивидуальные стили подменены парадигмой имитирующих стилизаций. Вкусы нивелированы и легко поддаются влиянию. Оригинальное моментально представляется как давно известное. Единственными критериями художественной ценности и красоты стали отношения споро-

са и предложения. *Merx est quicquid vendi potest*. Наиболее престижной дефиницией прекрасного был избран термин *модель*. Моделирование культурной матрицы сделало необходимым крупномасштабное производство и изготовление продуктов искусства в соответствии с общеобязательными стандартами. Любая чего-либо стоящая мысль, прежде чем дойдет до потенциального слушателя, обязана быть рационализирована, структурирована, каталогизирована, снабжена рекламным слоганом или яркой наклейкой, а затем продана за назначенную цену. Труп отдается на растерзание рекламе и развлечениям, чье рождение с лихвой компенсирует скоропостижную смерть искусства. Никто не помнит о его существовании уже через секунду после похорон. Клиповое сознание исключает возможность содержательного мышления, распыляя его на карикатурные трафареты. У каждого откровения находится свой продюсер, свой рекламодатель, свой бухгалтер, откровение необходимо пропустить через самые разнообразные бюрократические фильтры. Мысль, даже не успев родиться, превращается в выставленный на витрину товар. Результат безвкусен, как клубника из супермаркета. Масштабы творческой личности определяются тем, каков ее рыночный успех. Спектаклю выгодно, чтобы каждый прохожий мнил себя доктором искусствоведения. Гений и талант сублимируются, они практически не допускаются в культурную сферу, они теряются в инфляции однодневных сенсаций и практически не угрожают всеобъемлющей власти посредственности и псевдоноваторов. Они не востребованы. У них может быть свобода придумать, но никогда нет свободы реализовать свой замысел. У них нет даже свободы быть услышанными. Сиюминутное оказывается во много раз значимее подлинного, более того, оно становится жизненно необходимым, творчество же рассматривается как разновидность невроза, свидетельство бессилия. В этой действительности нет развития, всё завершено и происходит лишь постоянное репродуцирование. Одной из своих главных целей спектакль сделал преодоление уникальности. Спектакль не учел только одного: подлинное не поддается репродуцированию.

Мы сидим на выгруженных из машины кофрах в ожидании остальных участников. Они догоняют нас на метро. Мы настолько устали, что совершенно не хочется разговаривать.

* Товаром является всё, что можно продать (лат.).

Последнее время мы редко разговариваем, а если и общаемся, то о чем-то несерьезном. Мы уже не замечаем снега и холода. Наоборот – я собираю снег в ладонь и бездумно смотрю, как он тает. Я привык к лунному снегу. Белые лепестки, как обрывки бумаги, падают нам на голову. Ближайший час мы будем затаскивать оборудование обратно на репетиционную базу. Потом мы станем вытаскивать из кофров все эти микрофоны, кабели и процессоры. Мышцы настолько атрофировались, что уже не замечают нагрузки. После этих выступлений всегда наступает безнадежная депрессия, приходит ощущение абсолютного опустошения. Контроль оболочки. Возможно, он существует, но часто закрадывается сомнение – а осталось ли что-либо, кроме этой иссохшей, тощей, увядшей оболочки? Едва ли я буду уверен в ответе. Похвала. Я почему-то всегда воспринимал ее как ложь. Может быть, это неправильно. Впрочем, я всё воспринимаю как ложь. К тому же мне кажется удивительно нелепым, что эти слова, относящиеся к двойнику, адресуются не ему – не тому гадкому, злобному, припадочному клоуну, которого я так ненавижу, а мне. Но это он говорил моими устами, он размахивал руками, он бился в конвульсиях. А я давно растворился в нем. Я переварен им. Меня не существует. Тогда почему они обращаются к мертвецу? Почему ждут от него ответа? Выход на сцену, на самом деле, очень напоминает казнь. Публика рукоплещет. Ладно, довольно об этом. Довольно. Головной мозг размяк, разомлел и с секунды на секунду угрожает расползтись по всему черепу и вылезти из ушей, носа и рта. Я с нетерпением ожидаю этого мгновения. Надолго ли меня хватит? Иногда мне кажется, что моя воля не такая уж железная, что она изготовлена вовсе не из металла, а из пластилина. Однажды я слепил нечто, и внешне эта заготовка даже напоминала железяку, но теперь она поникла, как увядший ирис и вот-вот развалится на кусочки. Ветер в один миг разнесет пожухлые лепестки по тротуару, иные даже попадут на проезжую часть, и уж там им точно не спастись. Щадить их никто не станет. Они растают как вот эти снежинки на моих ладонях. Но у меня не повернется язык, чтобы сказать «это слишком». «Это слишком» невозможно, я всегда ненавидел эту приторную усталость, это фальшивое изнеможение. Моя ненависть не имеет ничего общего со смирением, тем более с верой в спасение. Я никогда не был настолько наивен, чтобы надеяться на спасение. Ведь сама идея спасения исконно формировалась как миф.

От прелюдии нельзя спастись. И я это хорошо осознаю. Наша деятельность своей упорствующей безнадежностью чем-то напоминает террористическое творчество эсеров в начале века. Но ведь мы ни на что другое и не рассчитывали: реальность гарантировала нам бесперебойные удары. Я смят в бесформенный сгусток. Из меня можно слепить что угодно. Я пластилиновый человечек, которого вырвали из детских пальцев. И я навеки достался профессиональному скульптору. Я уже никогда не вернусь в руки ребенка. Ребенок мял пластилин, играл с ним, а новый мастер ищет способа обжечь его как глину и придать скульптуре одну-единственную вечную форму. Форму зародыша. Есть ли под этой оберткой глинистой плоти гомункула хоть какое-то подобие осколка того, что можно назвать сознанием? Я часто спрашиваю себя об этом. Духа там никогда не было, а если бы и был, я сделал бы все, что в моих силах, чтобы от него избавиться. Моя сотереология заключается совсем в ином. Да, она жестока, кровава, бесчеловечна, но во время игры я ощущаю не только отчаяние и безнадежность, но и свободу, я вплотную приближаюсь к ней. Я созерцаю красоту. И ничто неспособно скрыть ее от меня, она горячим светом проступает сквозь тюремные стены, липкую паутину, засохшие плевки и склизкие тараканьи крылья, сквозь затравленность, искалеченность, грязь, вздор, уродство и смерть. В этом ужасающем грохоте таится гармония радости. Я вижу ее повсюду. Она превращает ржавые цепи в дождевые водопады, а окровавленные бритвы – в молнии. Она пьянит, будоражит, она вселяет в меня силы. Красота торжествует, захлебываясь в своем безрассудстве. Хрупкой траурницей она присаживается на мои ладони. И эта способность эстетического доставлять подлинное наслаждение неотделима от самой сущности игры, сколь бы трагичным ни было ее содержание. Красота мгновения всегда наполняет душу холодной скорбью, но счастье, которое я испытываю, не может быть уложено в конкретный временной отрезок, оно не похоже на оргазм мазохиста, хотя со стороны именно так и выглядит. Оно трансцендентно. Оно неуловимо. Оно все-таки существует. Существует назло оболочке. Оно по ту сторону витрин и улиц. Спектаклю не под силу уничтожить стремление к присутствию. И ему всеми силами придется защищаться от этого призрака подлинного. Ведь спектаклю хорошо известно, что ни у кого нет такой жажды жить, как у самоубийц.

До поры мы не рассматривали возможность нахождения внутри плаценты двух тел. Да, в теории небольшая вероятность этого существует, но на практике спектакль на самой ранней стадии делает все, чтобы уничтожить противоестественный курьез дуализма. По неписаным законам плацента способна вместить только одного пассажира. Братские могилы запрещены как разновидность инцеста. В некоторых словарях еще можно встретить такие архаизмы, как *близнецы* или *двойняшки*, но никто толком не помнит их значения.

Однако пассажиру время от времени казалось, что он не единственный заключенный плаценты. И пассажир упрямо отказывался верить в то, что внутри черного ящика не хватит места на двоих. Ему казалось, что нужно только собраться с силами и еще больше свернуться, чтобы освободить необходимое пространство.

*За окном – снег и тишь,
Мы можем заняться любовью на одной из белых крыш.*

Мокрая трава в сентябрьском лесу.
Теплый ветер, дующий прямо в лицо.
Ребенок, который смотрит на дымящийся туманом пруд.

Тропинка на выжженном, усыпанном пеплом поле.

Траурница на ладони.

Легкий наркотик, заполняющий легкие.

Генератор цветных изображений, иногда вызывающих неосознанный восторг, иногда – фатальный ужас.

Она плакала прямо посреди проезжей части, а ее объезжали машины, от клаксонов которых ничего не было слышно.

В течение получаса мы смотрели друг на друга, за это время я изучил все нюансы ее глаз.

В этом отвратительном холоде только с ней я нарушаю свой обет скрытности.

Она спрятала свою маленькую руку у меня в кармане. От холода.

Я вышел на перрон. Металлические ленты дождя бороздили серый асфальт. Переливающейся рябью капли бились об эту истертую потрескавшуюся плоскость, и в искаженном зеркале отражались тени редких прохожих. Самих прохожих не было – только тени. Потоки заплетались в серебряные косы. Мне захотелось поднять вверх руки и подставить их под искрящийся водопад. Но в этот момент тени прохожих, словно по команде, раскрыли свои сумрачные зонты. В одно мгновение вокруг меня образовалась толпа теней. В воздухе оставалось слишком мало места, для того чтобы поднять руки, небо едва просвечивало сквозь тонкие щели между черными зонтами.

Улица к этому часу уже не была переполненной, хотя моторы и колеса продолжали издавать характерный шум. Фонари освещали немногочисленные широкие тротуары. Под одним из столбов, в луже бледного света, две вороны клевали нечто бесформенное, вырывая эту массу друг у друга. Издалека было неясно, что именно они поглощают в столь поздний час, но с расстояния метров пяти стали заметны останки дохлой птицы – такой же грязной вороны, как и они. Ее труп, весь в дырах от клювов, источал неприятного цвета кровь.

Недавно он обнаружил на дне старой картонной коробки, заполненной бесполезным скарбом, свои детские картинки. Удивительно – как много и как плохо он рисовал. Картинки ему понравились. Он точно не помнил, в какой именно момент его игра стала сгущаться в художественную форму. Вербализация игры постепенно начала приводить к формированию необычной поэтико-философской концепции, которая сделала его одержимым. Он навсегда перестал представлять свою жизнь без игры. *Быть = играть*, эта избитая формула получила в тот момент свою вторую жизнь. Песоборотень на время игры оживал, превращался в человека. Игра дарила ему экзальтацию и ликование, и одновременно расстраивала его нервы, наполняя нутро неподдельным ужасом. Игра стала связующим звеном между глубочайшими слоями бессознательного и высшими продуктами сознания, располагавшимися в сфере эстетического. Но он никак не мог вспомнить, когда именно ему начало импонировать изложение философии в художественной форме. В качестве

ключевых категорий своей поэтической доктрины он избрал привычные, ничем не примечательные слова, но для него они стали чем-то наподобие мольберта: интерполируя их в свою теорию, он наполнял их зашифрованным смыслом, превращал их в развернутые метафоры (чей подтекст содержал целый поток странных аналогий и соответствий), и за тривиальными значениями улавливался более серьезный заряд – обыденное становилось фантастическим. Ведь только в этом случае философия помимо своей *интеллектуальной* составляющей могла обрести *эмоциональную*, получала возможность оказывать воздействие не только на разум, но и на чувства. И это было именно тем, чего он хотел добиться. Но его философия требовала особой художественной формы – она могла быть воплощена только в обрывочном бормотании сумасшедшего. За пределами его игры все используемые понятия изменяли свое значение и сливались с репрессивными коннотациями. Вот почему со стороны доминирующие образы его иконографии представлялись нелепыми, а произносимые им фразы казались бессвязными и бессмысленными: прохожие никогда не продвигались дальше первичных значений слов, избранных им в качестве философских категорий, не замечали тех многослойных взаимосвязей, не поддающихся рациональному описанию, в которые были сплетены соскальзывавшие с его губ словосочетания.

В детстве меня завернули в полиэтилен. Теперь я закутываю в это мягкое стекло своего ребенка. Моя юность мертва. Она задохнулась внутри липкой пленки. Глупо не признавать это. Но я по-прежнему погружен в какую-то вязкую массу – неопределенную и бесформенную. Я никогда не покидал плаценты. Теперь это очевидно. Смерть юности вовсе не отменяет незыблемого закона прелюдии. Я – тело, подвешенное в пустом пространстве. Я старею внутри плаценты, в смугло-сером облаке полиэтиленовой пены. И по-прежнему ощущаю все спазмы внутриутробного состояния. Я застаиваюсь. Пена. Мы погружены в нее, мы в нее превращаемся, мы сами становимся пеной, мы не присутствуем. По-прежнему не присутствуем. Присутствие слишком сильно похоже на мираж. Я больше не восторгаюсь иллюзиями рождения. И со всё большим подозрением отношусь к ощущению восторга. Чересчур много ловушек и подделок окружает меня. Слишком много цветов, которые при ближайшем рассмотре-

нии оказываются искусственными. Прелюдия имеет бесконечное количество стадий. Сейчас наступил этап, на котором полиэтилен затвердевает и становится липким стеклом. То, что обычно называют перерождением, на самом деле не имеет ничего общего с родами, но точно повторяет все фазы и ритмы внутриутробного развития. Я иногда ощущаю присутствие своего представления о себе, но никогда не ощущаю своего собственного присутствия. Так недолго и до того, чтобы начать ощущать присутствие других. Нет, окружающие всё менее интересны мне. Встречи, бессмысленные разговоры... Мне постоянно нужно искать предлога, чтобы не видеть их. Я скорее готов вытерпеть изощренные пытки, чем пойти к кому-нибудь в гости. Ничто не страшит меня так, как перспектива общения с другими. Однако от них невозможно скрыться. Я устал растолковывать каждое произнесенное слово во избежание превратного понимания. И всё равно в конечном итоге мои слова оказываются вывернуты собеседником наизнанку. Он выуживает из них только то, что представляет ценность для него самого. Нет, окружающие очень опасны. Вечно толкуются рядом, без умолку щебечут, готовые высказать свое мнение, вмешаться по любому поводу. И их число заметно растёт. Они лукаво тараторят тебе на ухо какую-то белиберду. Никогда не стоит делиться с ними своими мыслями. Это всегда может выйти боком. В решающий момент, когда от них действительно будет зависеть что-то важное для тебя, они не преминут скосить взгляд и отвести глаза в сторону. Хотя, по правде говоря, они всегда избегали заглядывать в глаза. Или я путаю, и все-таки иногда заглядывали? Сейчас уже не могу сказать с уверенностью. Но в любом случае излишняя откровенность приносит только неприятности. И потому мне приходится взвешивать, оценивать и обдумывать буквально каждое слово, которое я намериваюсь произнести. Каждое! Ведь даже мелкая ошибка может дорого обойтись! Анализировать, размышлять о том, что стоит говорить, а о чем лучше и не упоминать. А лучше – как можно глубже зарыться в молчание и вылезать из этой гробницы лишь в случае крайней необходимости. Контролируемый аутизм? Возможно, это не самое плохое определение. Параноидальная подозрительность? Да, черт возьми, и это так – я подозреваю каждого из них! Нет, нет, нужно молчать. Ведь спектакль стремится подчинить даже твои прозрения, устроить так, чтобы даже они работали на него. Вспомни, что сделал эдикт Константина с твоим поиском подлинного! Да, они

не просто отобрали твою идею, они сделали ее стержнем своего учения, согласно которому земная жизнь есть лишь этап, предваряющий истинное бытие души – жизнь небесную. Похоже на твою мысль? Настолько же, как отражение в кривом зеркале всегда отдаленно напоминает оригинал. А ведь они уже почти заставили тебя поверить в то, что ты именно это и имел в виду. И у них есть все необходимые ресурсы, чтобы смешать две идеи воедино. С твоим мозгом, в котором понятия всегда наслаивались друг на друга, это будет не так уж сложно повернуть. Именно это психоанализ называет *замещением*. Спектакль использует в своих целях даже твою надежду. Он замещает ее чем-то другим. Чем-то чужим. Вот почему нужно скрывать свои прозрения. Нужно сомкнуть уста. Время говорить еще не пришло. Предъявлять им себя только в оболочке. Вот к чему я пришел. Нужно замести самого себя. Только так. Мое «Я» должно выступать камуфляжем для моего «Оно». Кому-то может показаться, что это не так уж сложно. О, как они заблуждаются! Другие – это агенты спектакля, они видят все микродвижения мышц вашего лица, им заметна любая едва ощутимая рябь, о которой вы сами можете даже не подозревать. А они выуживают таким образом огромное количество нужной им информации! Мне становится всё сложнее скрывать от них свое безумие. Последнее время у меня часто складывается впечатление, что моя кожа прозрачна и сквозь нее просвечивают внутренности: все эти кишки, кости, хитросплетения вен, ало-коричневая масса. И другие в любой момент могут разглядеть меня насквозь. Порой мне кажется, что они уже догадались, раскусили меня, но нет – дальше оболочки дело опять не пошло. Они опять смотрят сквозь меня, видят только Майю. Когда мы говорим с натугой, словно по обязанности, они принимают меня за своего. Оболочка всегда меня спасала, пожалуй, я должен быть благодарен ей за это. За эти годы я научился использовать ее в своих целях. Хотя порой мне кажется, что моя броня уже не так крепка, как раньше, что она обнаруживает всё больше брешей, что мягкая гнильца уже прорастает сквозь кожу кратерообразными цветками. Вот-вот они это заметят, они догадаются. Но нет – видеть, это только мои галлюцинации и страхи рвутся наружу. В любом случае, другие мне неинтересны. А что же в таком случае меня интересует? Я сам? Вздор! Тогда что же? Вряд ли смогу внятно сформулировать, что является объектом моего исследования. К тому же, есть ли необходимость формулировать?

Скорее нет, чем да. Да и кому об этом рассказывать? Другим? Ха-ха, вернемся к тому, с чего начали. Да, я уже знаю, что это такое – быть другим. Только процесс превращения, который обычно пронесится мимо сознания как вихрь, растянулся на десятилетия. Словно кто-то специально замедлил скорость магнитофона. Ну конечно, специально! Кто-то сам обожал эти эксперименты с замедлением изображения. А теперь удивляешься?! Теперь этот кто-то уже не уверен, что процесс завершится, есть большая вероятность, что мутация будет вечной. Особенность нашей тюрьмы в отсутствии одиночных камер, они нерентабельны. Их заменяют незримыми клетками – ящиками с непроницаемыми прозрачными перегородками. Все, что мне остается, – ненадолго забиться в какой-нибудь угол этой Гефсиманской теплицы, закрыв глаза руками. Я слышал, что автор нового проекта персональных витрин позаботился о том, чтобы внутри не было углов. Форма эллипса стала его решением. Эта форма почти исключает движения, или, во всяком случае, значительно сокращает их для тех, кто даже в этой ситуации не способен уgomониться и успокоиться. Но пока нас не перевели, я могу насладиться прелестью своего сырого угла. Я сливаюсь со стеклом и вспоминаю что-то, чего со мной никогда не могло произойти. Выбоины морщин испещрили маскарадную маску моего лица. Я никак не могу дожидаться окончания спектакля. Иногда я на минуту забываюсь и, очнувшись, пытаюсь понять, сколько сцен осталось до конца, но с ужасом обнаруживаю, что мы напрочь застряли где-то в середине первого акта. Актеры всё так же монотонно бубнят свои монологи, режиссер спит, декорации вросли в пол. Действительность разыгрывает всё ту же скучную, чужую пьесу. Точнее сказать, спектакль больше походит на какую-то нескончаемую репетицию, действие как таковое в нем отсутствует. Причем репетируют не только актеры, но и зрители. Заледеневший мир застывших жестов. Я всё больше начинаю сомневаться в возможности рождения. Я – шут, ряженный в кандалы. Я углубляюсь в стекло. Погружаюсь в мякоть липкого глянца, в вязкую тину. Стекло всегда становится мягким и обволакивающим при углублении, но леденеет при первой попытке вырваться обратно. Расплавившаяся прозрачная масса в одно мгновение кристаллизуется в холодную, покрытую искрящимся инеем твердь. Твое дыхание застывает липким туманом на глянцевой блестящей поверхности. Мертвой рыбой сердце барахтается в мутном аквариуме плоти. Все дороги ведут сюда. Как бы ты не пы-

тался сбежать с подиума витрины, в итоге опять обнаруживаешь себя здесь. Ты всегда попадаешь обратно в эту наглухо закупоренную прозрачную клетку. Тюрьму с невидимыми стенами. Дело в том, что всё твоё тело состоит из таких же микроскопических прозрачных клеток – карцер всегда внутри тебя. Извержение вулкана навеки запечатлелось в обсидиановых осколках. Манекен умеет делать вид, что смотрит, что дышит, что думает. Что ж, это не так уж мало. Плацента витрины – это целая вселенная со своими законами, существующими только внутри стеклянного шара. Да-да, вы не ослышались, витрина – это реинкарнация плаценты. И это тесно ограниченное, запертое пространство выделено тебе. На этом этапе ты не просто корчишься внутри, но еще и превращаешься в товар. Лишь тонкая перегородка отделяет тебя от действительности. Порой кажется, что разбить ее ничего не стоит. Нужно только переждать, пока пройдет усталость в руках. И тогда – собраться с силами и обрушить какой-нибудь тяжелый предмет на стеклянную ширму, скрывающую твою жизнь от реальности. Вот уже первая трещина распоролла прозрачное полотно. Осколки разлетаются в разные стороны, превращаются в птиц, ты уже слышишь трепет их молодых крыльев. Сквозь разбитое зеркало будто бы сочится солнце. Осталось лишь протянуть руку, чтобы вырваться на ту сторону. Но ты не делаешь этого потому, что осознаешь, что улица – это не реальность. Точнее, она реальна, но не подлинна. А между реальностью и подлинностью испокон веков зияла необъятная пропасть. И трещина на стеклянной скорлупе моментально затягивается, как рана, сполоснутая мертвой водой. Как будто ее и не было. Птицы тонут в темноте. Улица таит в себе смертельную опасность. Улица – это обратная сторона витрины, это часть спектакля. А ты попал на витрину не с улицы. Ты пришел откуда-то еще. И потому иногда у тебя возникает желание вернуться обратно в аутентичную утробу, в псевдонирвану матки. Порой ты даже начинаешь думать, что только утроба подлинна. Хотя еще помнишь, что возвращение – это ловушка. Ловушка, выдуманная спектаклем, чтобы удержать тебя внутри, чтобы не отпускать тебя. Возвращение невозможно. Оно ничего не изменит, так же, как и смерть. К тому же, куда возвращаться, если ты не сходил с места? Меняются только декорации. Тебе уже предоставлена новая форма плаценты. И плацента витрины становится логическим продолжением прелюдии. Но этот этап еще сложнее предыдущих, он требует отдельного описания,

которое едва ли сможет избежать сумбурности. Загвоздка в том, что витрина едина для всех – она вмещает несметное количество манекенов. Но все они разделены невидимыми для их глаз прозрачными перегородками, все изолированы друг от друга – строго говоря, это даже не витрина, а совокупность множества персональных витрин (напомним, что плацента не способна вместить более одного существа). И даже мой ребенок отделен от меня этой перегородкой. Даже мой ребенок. Ему тоже не дадут родиться. Манекены разделены, и коммуникация между ними невозможна. Их редкое общение находит себя только в жестах. Но при этом манекены на витрине не обременены необходимостью в уединении. Еще бы – на этом отгороженном широким стеклом подиуме уединение невозможно. Собственно говоря, никто из манекенов и не ощущает одиночества плаценты. Действительно: как нелепо требовать уединения, когда ты находишься перед огромным зрительным залом! После того, как стемнеет, витрины полагаются подсвечивать. И тогда манекены начинают больше бросаться в глаза. Освещенные витрины заставляют прохожих замедлить шаг. Каждый вечер улицы и площади заполняют толпы зевак. С пунктуальностью палачей они занимают свои места. Тебя радует только то, что благодаря темноте ты не видишь их. Конечно, большинству зрителей до тебя нет никакого дела, они разговаривают, шелестят платьями, пригубляют коньяк, деловито улыбаются друг другу, но правила спектакля предполагают, по крайней мере, видимость зрелища. Они могут не замечать тебя, но они знают о твоём существовании. Ради сохранения маскарада они готовы пойти даже на то, чтобы время от времени аплодировать. Они внимательно следят за тем, чтобы в нужный момент успеть ахнуть или захихикать. Иногда им даже нравится любоваться нищими. Этого требует этикет. Но они воспринимают происходящее как развлечение: ты для них – сон, который они забудут уже через секунду после пробуждения. И горстка лохмотьев будет в один миг развеяна порывом ветра. Для них ты – манекен. Во всех случаях. Абсолютно во всех случаях. Но тогда о чем вообще разговор? Ты – мишень, в которую целится рота солдат. Приказы наслаиваются друг на друга, противоречат друг другу, отменяют друг друга. Добро пожаловать на казнь! Зрители алчут твоей мучительной смерти. Вместе с хлопком выстрелов раздастся и оглушительный взрыв их мерзкого хохота. Ты лопнешь как воздушный шар, в который выстрелили из пневматической винтовки. Ты ша-

рик, маленький, с пепельно-серебристым отливом – на крутящейся волчком рулетке, игроки с нетерпением ждут твоего падения. От этого напрямую зависит толщина их кошелев. Их лица искажены ненавистью. Конечно, фанатично преданных рулетке маньяков не так уж и много, для большинства присутствующих казино – лишь привычное времяпрепровождение, а для крупье – так вообще работа. По существу и для тебя это давно превратилось в рутину, как бы ты ни ретушировал морщины, пропиленные слезами. Они проступают сквозь грим. Ты сам себе это выбрал, никто палец о палец не ударил, чтобы навязывать тебе это ремесло. И теперь ты еще имеешь наглость возмущаться! Манекен на витрине постоянно находится под перекрестным прицелом взглядов. На него смотрят и коллеги-манекены, и прохожие. Они отличаются от тебя тем, что не подозревают о существовании стеклянной плаценты. Для них плаценты не существует. Они забыли о присутствии. И даже если ты напомнишь им об этом, они сочтут тебя помешанным. Они растерзают тебя. Вот почему в твоих интересах сохранять оболочку. Но, разумеется, отсутствие уединения вовсе не отменяет твоего имманентного одиночества. Ты – один из тех солдат, что исполняют приговор. Ты целишься в зеркало. По команде ты примешься испуганно палить в собственное изображение. Каково же будет твое разочарование, когда ты обнаружишь под ногами вовсе не кровавую лужу, а блестящие осколки! Однако при этом тебе по-прежнему кажется, что вот-вот должно что-то произойти. Что-то, что всё изменит. Иногда мой угол все-таки превращается в одиночную камеру. Окружающие растворяются. Всё пропадает. В камере промозгло и сыро. Она в самом дальнем крыле тюрьмы, в этот закуток редко кто добирается, даже надзирателям – лень. Мой уютный прохладный ад. Солнечный свет не поступает в эту конуру, земляной пол всегда холоден и сыр. А я всё считаю дни, оставшиеся до освобождения. С дикой скоростью бегаю от одной стены к другой, словно на нелепом спортивном соревновании. Облезлая курица продолжает клевать иссохшую корку моего мозга. Я в забытии. Я поджариваюсь на медленном огне. Я внутри стеклянного быка Фалариса. Меня никогда не выпускали наружу. В какой-то момент я сбиваюсь со счета. И теперь уже кажется, что освобождение должно произойти со дня на день, но я никак не могу его дожидаться. Плацента окаменела. Я застрял здесь. Я врос в плаценту. Это именно то, что можно определить как состояние прелюдии: постоянное ожидание

чего-то, что, по всей видимости, не произойдет никогда. В действительности значения всех избранных метафор оказываются намного шире, чем того требует глоссарий, заключивший их в удобные ему смысловые рамки. Человек – это и есть прелюдия. Ее совершенное воплощение. Не как вступительная часть, а именно как отдельная форма. Что-то, что было запланировано как нечто большее, нежели то, что получилось в итоге. Вся история человечества подтверждает эту гипотезу. Человек никогда не покидал плаценты. Он навсегда заморожен в состоянии эмбриона. Он не плох и не хорош. Его не существует. Внутри скорлупы крик бессмыслен – он не породит эха. Безнадежное безмолвие значится в тексте сценария. Не наступающее настоящее. Я сжимаю в руке яйцо, и оно взрывается кровью. Я надеваю на голову картонный колпак, напоминающий шутовской. Завтра я всё же потребую казни. Я окурок, погашенный в яичнице.

Театр теней – вещь куда более страшная, чем может показаться на первый взгляд. Притягивающие взор размытые силуэты наводят на самые разные мысли. Эти примитивные образы при ближайшем рассмотрении оказываются трагически амбивалентными. Что они символизируют? Никчемную реальность или меркнувшую подлинность?

Чтобы понять это, он решил поймать тени. «Как?» – полюбопытствуете вы. О, он нашел необычный способ! Огромными портняжными ножницами он стал вырезать тени из полотна, на котором они обитали. Однако каждый раз вырезанный силуэт все-таки хоть чуточку, но отличался от ускользавшего оригинала. Он уже собрал целую коллекцию полупрозрачных силуэтов, но всё никак не мог остановиться в своем поиске. И самое кошмарное: сколько бы он ни разрезал полотно, рваные раны тут же затягивались, и всё приходилось начинать сначала.

Тогда он решил пойти на одну хитрость. Он зашел за полотно. Он решил, что таким образом ему удастся контролировать силуэт. Но, находясь с той стороны, он не просто наблюдал за собственной тенью, он сам начал перевоплощаться в нее. Он уступил ей место. Чтобы донести ужас превращения в манекена, нужно самому пережить этот ужас. И ему пришлось совершить самоубийство, чтобы донести символ. Пророк распял сам себя. Означающее превратилось в означаемое.

Луна раскололась надвое, и полукруглый обломок полумесяца упал прямо в ладони алхимика. Он подождал, пока ледяной осколок растает, и умылся холодной лунной водой. Нужно было прогнать сонливость. Нужно было прийти в себя.

Нить, скреплявшая жемчужины между собой, перегнила и порвалась. Жемчуг рассыпался по полу и уже через час был раздавлен сапогами. Я больше не нахожу никакого смысла в коммутации кабелей, по которым на вход микшерного пульта поступают фальшивые ноты, в поиске непроставленных галочек в бесконечных меню компьютерных программ и цифровых магнитофонов. Однако эти занятия отнимают уйму моего времени. Недели черствеют одна за другой, даже не успев пропечься. Мне это осточертело.

Два дня назад Игнатий ездил загород и несколько часов ползал в грязи неподалеку от военного городка. Работал.

– Посреди поля там есть ангар, невысокий, но длиной не меньше километра, словно мертвый гигантский червь. Исцарапанное, потрескавшееся, заброшенное сооружение, окруженное десятками квадратных километров черной, как мазут, и пачкающейся, как сажа, мокрой земли. У самого края ангара стоял солдат в затертой военной форме с малюсенькой саперной лопаткой в руках и скалывал со стены куски окаменевшей грязи и краски – единой серо-коричневой массы, облепившей всё строение. Он делал это не первый час, это было ясно. Титанический и абсолютно бессмысленный труд. За день он очистил не более трех квадратных метров бесконечной стены, и то не до конца...

Вопрос о вневременности спектакля. Конечно, рано или поздно он должен был прийти в голову пассажира. И, разумеется, пассажир осознал, что спектакль не мог существовать вечно. *Вечный* – это не его характеристика, ведь совершенно точно существовала пора, когда спектакля не было. Спектакль заполнял реальность не единовременно,

но постепенно, шаг за шагом. И это недоказуемое убеждение, несмотря на свою очевидную абсурдность, начало будоражить пассажира.

Возвращение – снова этот искус был предоставлен ему. Это ли не путь для уничтожения спектакля? Это ли не выход? Это ли не то, что нужно?

И вот она – та самая ловушка, на создание которой спектакль потратил долгие годы. Да, возвращение представляло опасность для спектакля, но все-таки во много раз меньшую, чем стремление обрести присутствие. Возвращение отменяло присутствие, а ради этого спектакль готов был пойти на любые компромиссы.

Пассажир, всегда испытывавший чувство отвращения к любым проявлениям консерватизма, ощутил эту губительность, этот тупик возвращения. Возможность оживить прошлое его не привлекала. И в этот миг он с ужасом понял, что все предшествовавшие эпохи были не чем иным, как подготовкой к спектаклю. Репетицией. Смысл существования самой реальности заключался исключительно в неизбежности ее превращения в спектакль. То есть даже реальность никогда не принадлежала к миру подлинного. И эта жалкая условность реальности не была способна раскрыть его истинную сущность. Возвращение стало бы еще одной встречей с прелюдией. Той же самой прелюдией. Тогда эта мысль ясно промелькнула в его уже подававшемся помешательству мозге.

Свет фонарей жидкой гнильцой льется на лед. Грязные тени отражаются в пустоте зеркала. Я закрываю глаза и падаю на влажную траву бескрайнего поля. Утром здесь тихо. Я затаился в этой рассветной тиши. Только стрекот кузнечиков время от времени тревожит безмолвие. Изо всех сил сжимаю в руках мягкие травинки, роса капает на костяшки, щекочет пальцы. Широко раскинувший руки, я словно распят на траве. Мне известны только две позы: неродившегося младенца и распятого. Только в этих позах я могу засыпать. Но меня будят шушуканья и бормотания, шорох и шарканья. Тусклые пятна размываются на холсте. Кто-то кашляет. Тени в коридоре. Липкий шепот. Лучи прожекторов пробиваются сквозь грязно-желтый туман, выискивают. Что-то извивается и мечется вокруг. Шум и гул. Заря, если и существует, то только по ту сторону могильной ограды. На церковном дворе темно. Что слышно? Как

обычно. Приказы и нравоучения. Больше ничего. Больше ничего. Ничего. Только иногда – сдавленный кашель. Я вдыхаю отраву города, вязну в густом мороке. Повсюду – накипь цивилизации и ржавчина прогресса. Угарные тоннели улиц кишмя кишат людьми. Начальники и подчиненные. Начальники начальников, подчиненные подчиненных. Каждый ищет, как урвать клочок того, что считает жизнью. Каждый лелеет лоскуток своей никчемной власти. Отношения с другим – это властные отношения. Каждый трясется за тот квадратный метр, которого добивался долгие годы. Боязнь потерять его затмевает все остальные чувства. Каждый настолько слаб, что не просто не готов в один миг бросить все, что у него есть, об том и речи нет – эти черви не помышляют даже о малейших изменениях. Их всё устраивает. Добродетелью движет исключительно расчет, а страстью – экономический интерес. На этом выровненном пространстве нет локальности власти, она заполняет все, она расплыена в воздухе подобно капиллярным сосудам в ткани тела. Властные отношения сплетены воедино. Бесконечная искрящаяся пена. Они вцепляются друг в друга как роящиеся пчелы. По отдельности люди могут казаться неплохими, интересными, думающими, но стоит всем им собраться вместе, организовать, и тут вылезает наружу самое гадостное, что в них есть. Любое малое общество становится не более чем точной копией общества большого со всеми необходимыми атрибутами в виде надзирателей, заключенных, судей, доносчиков. Я их не переносу. Всех – и преуспевающих, и обездоленных, и злобных, и радостных, и подлых, и услужливых, и тупых, и интеллектуалов, и склочных, и забытых. Мне уже не жаль этих «ни в чем не повинных бедолаг», этих «жертв обстоятельств». Бьюсь об заклад: они сами приложили все мыслимые усилия, чтобы стать такими, они почти счастливы; глядя на их виноватые лица, трудно усомниться в том, что что-либо могло быть по-другому. Со всей уверенностью могу заявить: не существует никого страшнее этих типов с виноватыми лицами. «Невинные души» – это самая пронырливая и хваткая сволочь. Всё до невозможности предсказуемо и укладывается в неимоверно примитивные схемы. Кроты копошатся в норах. Шарманка уныло фальшивит. Вот-вот – и я сам завою ей в такт. Мне кажется, что я не смогу долго пребывать в больничной палате, не покоряясь помешательству. Веревки не дают мне вырваться. Я пропитан этим тлетворным духом. Звон монет и бокалов перемежается чавканьем и мерзким хохотом. Я впадаю в дикое бешенство. Рулетка вертится, золотые зубы сверкают, им

вторят браслеты и серьги, задницы виляют, кошельки наполняются, грохот колес нарастает. Дайте же мне топор! И еще понадобится бульдозер с огромным ковшом, чтобы сгрести весь хлам в одну кучу! Я ненавижу эту зловонную атмосферу: пыль и смрад, табу и обряды, гнилую труху, маскарад, грошковые аттракционы и шелест купюр. Из одиночной камеры меня выбрасывают в самую гущу ярмарочного веселья. И это они называют свободой. Лица чиновников и купцов, чью биографию безо всякого труда можно за тридцать секунд начертать на клочке бумаги – она была известна еще до их появления на свет. Сначала хочется разорвать этих ублюдков на части, но стоит едва повернуться в их сторону и становится безнадежно скучно. Едва ты хочешь искушать реальность, как твои зубы вязнут в трясине теста или – того хуже – ты давишься осколками стекла. Крику не удастся вырваться наружу, губы навсегда остаются сомкнутыми. Нет, здесь нужен не топор, а бритва. Агрессия и апатия постоянно сменяют друг друга в моем мировосприятии. И вот этих протезированных особей принято называть людьми. Каждый из них никогда не родился, никогда не был человеком, каждый по-прежнему вшит в персональный мешок плаценты. Только не подозревает об этом. Карлик в колбе, его подкормка осуществляется через специальную трубочку-капельницу, именуемую пуповиной. Ему слишком удобно живется в прозрачном мыльном пузыре, чтобы он помышлял о том, что бы обрести подлинность. Удивительно, но эта копошащаяся масса – не что иное, как нагромождение друг на друга одиночных камер. В этой иерархии хаоса нет ни малейшего намека на то, что способно объединить бесформенных существ. Мы живем, как змеи, разделенные стеклянными перегородками. Студеная пустота темной комнаты. На грязной скатерти – немытая посуда. По кухне снуют алые, как лазерные прицелы, лучи вечернего солнца. Покончить с собой, чтобы не попасться в их лапы? Но самоубийство невозможно внутри плаценты. Я бросаю отравленное письмо в расселину сумерек как почтовую открытку в синий ящик. Оставляю на кусочке льда послание неродившимся лучам того бледно-желтого пятна на полиэтилене. Затем кладу голову на стол и засыпаю. В осколках ледяного зеркала запечатлен крик. Слабый ветер покачивает пыльные жалюзи, они тихонько бьются об оконную раму. Мотыльки еще кружат над потухшим свечным огарком. Мне снится дождь из бирюзовой водки.

Черные точки на плоскости соединены прочерченными простым карандашом прямыми, кривыми и ломаными чертами. Линии едва заметны. Стереть их не составит никакого труда.

Холодно. ОЧЕНЬ холодно. Мне кажется, я близок к тому, чтобы произнести «слишком холодно». Но что-то еще сдерживает меня. В такой мороз мои уши перестают слышать. И я погружаюсь в тишину. Необыкновенно прозрачную и мягкую. Я ничего не слышу. Абсолютно ничего. Даже приказов. Я завернулся в собственную шкуру. Но истертое пальто моей шерсти уже не греет. Оно вообще не греет. А в такой мороз его бесполезность проявляется в полную силу. Грязная ободранная серая шкура. Ни на что уже не годится. Дверь. Мне нужно найти дверь. Убежище. Нужно куда-то укрыться. Но на время или навсегда? Затаиться или спрятаться? Я уже не уверен в ответе. Похоже, для меня всё это смешалось. А ведь раньше я бы не задумывался. Убежище всегда требовалось мне лишь для того, чтобы переждать. Теперь же я, по всей видимости, ищу постоянного укрытия. Я ищу дверь. Любую. Меня устроит любая дверь. Но в стеклянной стене, мимо которой я бегу, нет дверей. Ни одной. Значит, нужно свернуть на другую улицу. На ту улицу, где есть двери. Я уверен, такие еще остались. Да, теперь я сторожевой пес, а вовсе не дверь. Те времена прошли. Надо это признать. Теперь я сторожу свою оболочку. Оберегаю нутро от других. Но что удивительно – в этой тишине нет больше никого. Или я просто перестал замечать других? Нет, они бы это так просто мне не позволили. Но где же они? Наверное, меня уже не существует. Мне не дали ключики, и это отменило мое существование. Поэтому они и не обращают на меня ни малейшего внимания. Поэтому мне и кажется, что их нет вокруг, ведь не существует меня самого. Нет, сомнение – первый аргумент в пользу того, что я существую. Первый и одновременно последний. Вот сюда. Сюда. Еще немного, и я не смогу двигаться от холода. Чего-то не припомню уже такого мороза. Вот они, долгожданные двери. Здесь их очень много. Нужное место. Я нашел нужное место. Можно выбрать любую. Только все заперты. Их очень много, но все заперты. Так-таки и все? Неужели и вот эта ободранная гниленькая дверца тоже закрыта на засов изнутри? От кого они

прячутся? Не от меня же? Уж я-то им точно ничем не угрожаю. Тогда от кого? Забились по своим берлогам и навострили уши. Дальше... Дальше была одна. Я помню. Она всегда меня спасала. Спасет и в этот раз. Они в таких случаях молятся. Они глупы. Я не хочу даже лаять. Мне всё осточертело. Я хочу хоть ненадолго согреться. Хоть на часок. Да, она приоткрыта. Сюда. Вниз по лестнице. Тепло. Долгожданное тепло. Сажа темноты. Жуткая теснота. Ну, конечно, ничего иного я и не ожидал. Впрочем, здесь вполне сносно, если не принюхиваться. Уши снова начинают слышать. Но здесь столь же тихо, как и там – на стороне глухоты, в пристанище холода. Конечно, по глобальным меркам здесь внутри тоже не особенно жарко. Но я начал слышать – и это главный показатель тепла. Нужно забиться под лестницу. Там меня сложнее будет обнаружить. Хотя всё это, разумеется, ерунда. Очень скоро они найдут меня. Других нет поблизости, когда я мерзну, но стоит мне чуточку согреться, и они тут как тут. Меня снова поймают и выбросят на холод. Последнее время мне кажется, что оболочка практически перестала меня защищать. Она ни на что не годна. Меня скоро поймают. Но всё это потом, сейчас – несколько минут сна под закопченной, измазанной сажей лестницей. К тому же сон на время успокоит чувство голода. Всё, пора под лестницу. Стоп, что я несу? Откуда на витрине может быть лестница? Может, привезли новые декорации? Кому это могло прийти в голову? А почему на витрине теплее, чем на улице, ведь всегда было наоборот? Их поменяли местами? Всё это очень подозрительно.

Что происходит, когда спектакль заканчивается? Нет-нет, я прекрасно понимаю, что он почти бесконечен, но у любой, даже невероятно затянутой пьесы должен быть последний акт. Таковы законы жанра. Занавес, затемнение – иными словами – финал. Без него спектакль не оправдывает своего названия. Ответ есть, и он до смешного прост: спектакль, как ни в чем не бывало, начинается сначала. Зрители, сидящие в зале, делают вид, что они не знают до мельчайших деталей буквально каждый эпизод, а актеры на сцене ведут себя так, словно это не надоевшая всем до смерти пьеса, а долгожданная премьера.

Нет, поезд не трогался с места. Всё это время я сидел в купе неотправившегося состава. Купе небольшое, по-своему уютное: столик, чай, одеяло, подушка. Но когда поезд не отправляется, начинаешь сходить с ума. Это купе – мой персональный зал ожидания. Я заключен в здании заброшенного вокзала. И скандалить-то не с кем! Дверной замок заклинило, а те, что за стеклом – на перроне, всё равно не услышат ни звука. К тому же они никогда не смотрят в мою сторону.

Лифт застрял. Застрял, почти добравшись до первого этажа. Где-то между вторым и первым. Может быть, между третьим и вторым, но не выше. Не выше. Это точно. Хотя нет, не точно. Совсем не точно. Нет ни одного довода в пользу этого. Только ощущение. Но ощущение может быть иллюзорным. Что же остается? Ждать? Кого? Санитаров в забрызганных кровью белых халатах? И они вытащат меня отсюда с помощью железных щипцов? С помощью ржавых щупальцев? Я еще не видел их лиц, но уже ненавижу их, хотя всё меньше верю в их появление.

Попугаям в клетках вешают зеркала, чтобы им не было одиноко. Стоит поместить в клетке это блестящее стекло, и они успокаиваются. Когда они смотрятся в него, то придумывают себе друзей и врагов, побеждают, гибнут и снова воскресают в воображаемых сражениях. Одиночные камеры нагромождены друг на друга, как ящики на складе. Кукольная жизнь. Как же она ничтожна. Но для того, чтобы сбросить шелуху, нужно быть уверенным в том, что под ней что-то осталось. А во мне стремительно исчезает эта уверенность. Я по-прежнему запеленат в мягкий шелк небытия. Но я еще не сдался. Я солдат с саперной лопаткой. Нищий и никчемный солдат. Пациент плаценты. *Homo innatus** – вот нужное определение.

Как-то раз он обратил внимание на то, что испытывает затруднение при ответе на вопрос о своем возрасте. По логике вещей, ему было не так уж много лет – двадцать шесть или двадцать семь, может быть двадцать восемь, но вряд ли более тридцати. И всё же он не мог внятно сказать, сколько ему на самом деле. Ему казалось, что его облик никак не зависит от прожитых лет – он всегда оставался неизменным, существуя как бы вне времени. В какой-то момент возраст

* Человек взрослый; человек неродившийся (лат.).

перестал представлять для него какой-либо интерес, полностью утратил свое значение.

Хуже того, те же самые (если не большие) трудности возникали и при ответе на вопрос об имени. Он пытался отшутиться, перевести разговор на другую тему, но в ужасе понимал, что понятия не имеет о том, как его зовут. Он боялся этого вопроса.

Всё было проще простого: если о возрасте еще можно было заводить разговор, хотя все эти славословия были весьма условны, то откуда у неродившегося могло быть имя? Разумеется, его не было, ведь имена присваиваются только после появления на свет.

Беседую сам с собой (часто в третьем лице), тихонько посмеиваюсь, потом внезапно замолкаю и снова начинаю разговор, но одновременно пытаюсь прислушиваться к собственному тихому, хриплому бормотанию. Походкой пенсионера плетусь мимо высоких снежныхobelisks и ледяных надгробий. Шаркаю об лед своими прохудившимися ботинками. Лишь время от времени останавливаюсь, чтобы отдышаться. Мне нравится холодный воздух. Этой зимой много снега. Я уж и не припомню, был ли хоть один год, чтоб столько намело. Холод продирает насквозь, метель забирается в ботинки, в рукава, даже за шиворот. Мой наряд стал сильно походить на лохмотья, и снегу всё легче пробиваться сквозь незалатанные дыры. Но меня это почти не заботит. Едва ли я прерву свою прогулку ради приобретения нового костюма. Мало что способно помешать моей тусклой меланхолии. Я не спешу, мне некуда торопиться. Наоборот, я стремлюсь спрятаться в морщинистых складках этой простыни-метели. Хоть на мгновение. Я ведь твердо уверен, что всё это ненадолго. Конечно, зимой вокруг всегда меньше народу, реже приходится разговаривать с кем-либо. Но всё равно это губительное ощущение мимолетности никуда не девается. Мои человеческие отношения центробежны, они направлены прочь от людей. Чем меньше я их вижу, тем лучше себя чувствую. Хотя не могу утверждать, что чувствую себя хорошо. Отчаянный протест против любого общения с другими вызревает внутри всякий раз, когда вырисовываются более или менее четкие контуры перспективы этого общения. Просеку замечает. Мой стеклянный взгляд описывает беспорядочные круги, рассеяно перемещается по находящимся в поле

моего зрения предметам, не сосредотачивая внимания ни на одном из них. Это взгляд слепого. И вот, как я и предполагал: кто-то уже звонит. Ненадолго же их хватило! Все, прогулку можно считать завершившейся. Я запутался в беспорядочной массе бессвязных сегментов, на которые раскромсана моя жизнь. Что это вокруг? Я плохо понимаю. Мой взгляд упирается в припорошенный снегом асфальт, в фокус объектива время от времени попадают какие-то ботинки, штанины, трости, пальто. Всё это – бледно-серого цвета, бесформенная суетливая масса сливается с поверхностью асфальта, с грязевыми разводами и тенями, копошащимися в эпилептической пляске на потрескавшейся, истертой, сизой плоскости под моими ногами. Со всеми деталями, включая дебильные гримасы, судороги и текущие слюни. Наверное, именно так выглядит и моя роль с той стороны. Со стороны улицы. Что она пытается сказать мне из-за стекла? Я ничего не слышу. Здесь, в этом темном коридоре почему-то всё время стоит жуткий, несмолкающий гул, хуже, чем на базаре. Невозможно разобрать ни слова. Здесь толпятся все, кому не лень – самый разношерстный сброд. От шума начинает кружиться голова. А она еще недовольна – эта гримза в стеклянном окошке... продолжает бурчать, истерично жестикулировать!.. злобно улыбающаяся тварь!.. всегда их недолюбливал, этих гадких старух!.. черт бы ее побрал!.. когда же эта карга заткнется? Стоп, я что-то путаю, ведь за стеклом забальзамирован никто иной, как я. Вот так ошибка – перепутать стороны. Совсем, совсем плохо с головой уже. Или я путаю одну из исполняемых ролей с образом автора? Или с режиссером? Или с самим Драматургом? Неужели эта корчащаяся от злобы старуха – я сам? Или это лишь моя оболочка? Двойник?.. Что это? Взрыв? Пожар? Трупы? Да, похоже на то. Странно, что они еще не привыкли к взрывам. Они по-прежнему их опасаются, никак не свыкнутся с опасностью. Враг всегда рядом – так их учили. Это въелось в их сознание. Без врага им будет житья куда скучнее. Взрыв – единственное, что может привести их в чувства и заставить на миг заткнуться. Дом за моей спиной... метрах в двухстах отсюда... да-да, именно тот... речь как раз о нем... вы должны его помнить... Так вот, он обрушился. Так бывает. Теперь на его месте огромная куча кирпичных обломков и грязи. И еще тучи пыли. Но, несмотря на всё это, кто-то уже вертится неподалеку с воробьиной суетливостью. Небось, надеется разыскать что-нибудь полезное среди этой

груды покрытых сажей камней, не иначе. Что-нибудь, что может пригодиться в быту. Они бегают с какими-то мешками и тележками, тихонько перешептываются, таинственно перемигиваются, хитрят, вынюхивают что-то, шныряют пронырливыми глазами. Их не останавливает ни дым, ни тлеющее пламя. Меня сейчас собьют с ног. Злобные, подозрительные крысы-мародеры, копошащиеся в куче мусора. Они недовольны, что темп моей ходьбы не совпадает с их представлениями о скорости передвижения прохожих. О, они пойдут на всё, что угодно, – снимут одежду с трупа, стащат кольца с охолодевших пальцев, вырвут золотые коронки из иссохшего рта! Так голодные черви обглаживают тела умерших. А это что за шорох? Ах да, это же шуршат километры отснятой киноплёнки. Кольцами удава они обвивают выцветшую действительность. Старая перфорированная лента осыпается кофейным песком прямо под ноги, но ее ежесекундно сменяют новые поколения. Отснятые кадры сыплются с неба густыми хлопьями – черно-белым снегом. Камера не выключаются ни на миг. В воздухе стоит целлюлозно-магнитный запах киноплёнки, его ни с чем невозможно спутать. Запах искусственной кожи. Стойкая вонь эпидермиса. Жизнь манекенов представляет собой не что иное как видеопроекцию. Опять кто-то звонит. Нужно выбросить телефон! Немедленно! Нет, это всё болтовня. Я сейчас возьму трубку, выберу необходимый паттерн из имеющихся в моем мозгу семантических матриц и лексических баз, и общение состоится. Здравствуйте?.. чем могу быть полезен?.. конечно-конечно, всё, что захотите!.. никаких проблем!.. совершенно никаких!.. ну что вы?! Коммуникация. Разговор. Беседа. Дискуссия. Трепотня языками. Лицемерие. Спор. Брань. Ругань. Ор. Ненависть. Ярость. Насилие. Война. Кто это звонил, черт побери?! Я плохо соображаю. Когда меня о чем-нибудь спрашивают, тем более по телефону, я никогда не могу понять, чего именно от меня хотят. Чужие желтые глаза. Они следят за мной, я знаю. Нет, я, конечно, лукавлю. Никакой уникальности. Время от времени в толпе прохожих я встречаю остекленелые взгляды таких же забулдыг, вроде меня. Они не следят за мной. Они словно копируют мою рассыпающуюся походку и мой отрешенный взгляд. И эти мечтающие пьяницы точно так же мне безразличны. Смотреть на себя со стороны – что может быть скучнее и неприятнее? Но почему же я всё равно продолжаю осоловело тарашиться в разбитое зеркало? Играет какая-то

музыка. Удивительно простая и красивая, величественно хрупкая, но ужасно однообразная, одна и та же мелодия повторяется сотни раз, словно засэмплированная, приостановленная кем-то. Я еще не рассказывал о ней? Скорее всего, еще не успел, не могу припомнить. Может быть, только намекал. Тема, не успевая закончиться, опять возвращается к первому такту. Откуда доносится эта дрожащая мелодия? Оглядываюсь по сторонам и не могу понять. Кажется, она застряла и гниет прямо внутри моего черепа. Она по-настоящему захватила меня, довела до беспамьяства, до изнеможения, избрала меня своей добровольной жертвой. Я – лунатик, ходячая сомнамбула. Мои затхлые сны уже давно лишены сюжетов. Но они так же скучны и нелепы, как и моя явь. Они представляют собой смесь каких-то свершившихся и не свершившихся событий, воспоминаний, размышлений, в них фигурируют и те, кого я хорошо знаю, и совершенно чужие, не известные мне персонажи. Но их роли абсолютно алогичны, и к тому же они ежесекундно меняются, так же, как и место действия, декорации и исторические эпохи. Я уже давно не сплю подолгу. Максимум – шесть часов. Если дело доходит до семи, то я начинаю чувствовать себя не в своей тарелке. Три-четыре – вот это привычно. Да и то мне редко удается проспять их целиком, ни разу не перевернувшись с бока на бок от боли в костях или не проснувшись от стойкого ощущения удушья. Для сна нужны силы, а у меня их почти не осталось. Еще во сне у меня отнимаются ноги, я перестаю ощущать их, порой мне начинает казаться, что их нет, что их ампутировали. Сначала одну, потом вторую. Без жалости. Без скорби. Как никчемный рудимент. Когда же я лежу неподвижно более четырех часов, мне начинает казаться, что я мертв. Но даже в эти мгновения смерти я ощущаю, как что-то продолжает агонизировать внутри. Я понял: этот непрерывный поток навязчивой меланхолической музыки, эта мелодия распада доносится из моих снов! Ну конечно, как же я раньше не догадался! Вот она, тайна этих психоделических сэмплов! Тем более что я уже ничего не соображаю, совершенно не чувствую разницы между сном и явью. Порой мне кажется, что, будучи погруженным в глубокий, подобный коме сон, я, тем не менее, сохраняю способность бодрствовать и пристально наблюдать за собственным поведением со стороны. Знакомые всерьез опасаются за мое психическое здоровье. И они правы! Оно ни к черту не годится! Есть о чем побеспокоиться! Они доискиваются до причин

моей меланхолии. Но едва ли у них что-либо получится. Я болен куда опаснее, чем можно предположить. Я уже дошел до предела. Я чувствую себя заводной куклой. Ключик скрипит в замочной скважине, врезанной в мою спину. Если его вытащить, то, вполне возможно, удастся разглядеть бессознательное. Но кто же виноват, что именно в этом изможденном, граничащем с безумием состоянии мне удавалось создавать нечто, что потом казалось заслуживающим внимания? В итоге написанные урывками, большей частью на каких-то непонятных клочках бумаги или нанесенные кривым почерком на страницы моего старого помятого блокнота, эти обрывки мыслей как нельзя лучше отображали то, что происходило под оболочкой. Я свылся со взрывами. Да, мне давно плевать на бомбы, плевать на войну. Мне одинаково безразличны и те, кто погребен под обломками, и те, кто копошится в этих грудях камней. Декорации меня не интересуют. Это так. Но это еще не всё. По моим записям можно восстановить истинный смысл происходящего. Они как хроника, систематизирующая действительность. Достаточно буквально нескольких строк, чтобы убедиться, что распад никогда не проходил мимо. Он не миновал ни одного мгновения моей жизни. Каждый сегмент моего существования всегда представлял собой не более чем осколок подлинной экзистенции. Но собрать воедино эту аутентичную целостность у меня никогда не получалось. Да, чтобы облегчить положение, я разработал специальный switcher-коммутатор и расположил его внутри левого полушария своего мозга. Он исправно переключал мою обертку с одного состояния на другое. Но эта болезнь постепенно разъедала меня изнутри. Шизофренией принято называть раздвоение личности. Каков же тогда диагноз для моего душевного расслоения? Рак мозга? Я называл это контролем оболочки, но ныне я уверен, что под оболочкой ничего не осталось. Раньше я тащился куда-то по окаймленной грязью дороге, но теперь я присел на землю, прислонился к забору и из последних сил вцепился в траву. Я не способен более сделать ни шага. Раньше тоже бывало, что я останавливался, но, дав ногам отдохнуть, всегда продолжал свое мучительное продвижение к горизонту. Продвижение было невыносимо медленным, порой даже еле заметным, но отрицать сам факт его бытия было невозможно. Я знал, что я двигаюсь. Я не отдыхал по долгу – длительные передышки всегда мешают. Не представляя, куда я шел, я умудрялся находить смысл в самом

процессе движения. Иногда я всё же пытался запомнить дорогу, мне приходила в голову мысль, что еще не поздно вернуться назад. Но в последний момент я всегда прогонял прочь мысли о возвращении и снова двигался дальше. Земля скользила под ногами, я не видел ничего кроме грязного месива и носков своих старых ботинок. Длинные полы дырявого пальто тащились по мокрой земле и лужам. Бахрома лохмотьев была изъедена грязью. Лишь изредка я поднимал глаза, и где-то вдаль, у самой линии горизонта, мне мерещился просвет. Потом, ослепнув, я на ощупь продолжал продираться в темноту. Но вдруг стал замечать то, чего раньше за мной не водилось: остановки становились всё более частыми и долгими. Я стал считать свои шаги, и с ужасом осознал, что останавливаюсь для передышки почти каждые пятьдесят шагов, а то и чаще. Я хорошо помню тот шаг – тот, что стал последним. Зная, что он будет последним, я все-таки сделал его. Точно так же я помнил и свое последнее слово. Последнее из тех, что произнес. То, после которого решил навсегда замолчать. А ведь я всё меньше и меньше говорил. Всё меньше и меньше. До тех пор, пока, наконец, не замолчал. Я знал, что то слово будет последним, но все-таки произнес его. Слово и шаг – они так похожи. И вот, мои ноги окоченели и вросли в землю. Я утратил способность к передвижению. Мне оставалось лишь молча присесть на истлевшую траву. Я не смог справиться только со слезами. Но, к счастью, они были незаметны для окружающих. Из-за не прекращавшегося ни на секунду дождя. Я всерьез начал опасаться, что схожу с ума, что истинной причиной моего расщепления на отсыревшие обрывки и лоскуты было помешательство. Но, так или иначе – у меня остались только эти лоскуты – части, а не целое. А мне нужна была целостность. Но стоило ли останавливаться на обретении? Стоит ли вообще на чем-то останавливаться? Или остановка невозможна, потому что я собираю воедино то, что заведомо невозможно соединить, то, что может существовать только в расколоте виде? Стоит ли воспринимать что-либо как остановку? Я ощущал, как безумие медленно разъедало мой мозг. Чтобы не распасться, нужно было мыслить. Но мыслей как таковых уже не было, и мне становилось страшно. У меня было только несколько параллельных, не пересекавшихся друг с другом коридоров, и я лишь время от времени перебегал из одного в другой по специальным тайным переходам. Я никогда не был настоящим. Пожалуй, только дома.

Только там. Но я так давно не был дома. Я никогда не был дома.

Ящики, шкафы, лифты, вагоны, кузова, комнаты, челноки, корабли, дома, кинотеатры, павильоны, храмы, крепости, нации, государства, континенты, планеты, галактики, человеческие черепа – всё это разноуровневые разновидности плаценты.

Я схожу с ума. Разум порядком поизносился. Реставрация – вот то, что мне нужно. Мне требуется реставрация. Моему мозгу она просто необходима. Если уж без работы не обойтись, то пусть это будет реставрационная деятельность. К тому же у нее масса плюсов. Главный из них: она практически не связана с людьми. Реставратор не работает с ними, его объект – это старые, потрескавшиеся, шипящие и шуршащие ленты. Ремесло реставратора сродни работе историка с архивными рукописями или старыми изданиями. Оно связано с открытиями. Реставратор музыкальных фонограмм изучает историю через призму искусства. Даже те мелодии, чья художественная ценность приближена к нулевой, обретают в процессе реставрации новый, индивидуальный смысл. Профессия реставратора находится по ту сторону добра и зла. Наверное, при иных обстоятельствах, я даже мог бы полюбить ее, если бы не моя подлинная страсть – складывание букв в слова, вербализация чувств, а она не имеет отношения к ремеслу. Слова были моими единственными возлюбленными, а теперь даже их я предаю. Я сам отрезаю траурнице ее крылья. Ей суждено навеки остаться гусеницей.

Во время родов медсестра забыла перерезать пуповину. Другого объяснения я просто не нахожу. И вот даже после родов я остался привязанным к плаценте этим упругим склизким жгутом. Такой веревкой запросто можно задушить. Некоторые действительно умирают оттого, что пуповина обматывается вокруг шеи. Плацента не отпускает меня. И что любопытно – она никоим образом не ассоциируется в моем сознании с матерью. Наверное, ребенок слишком рано оторвался от матери. Если между ними и

была какая-то связь, то очень давно – теперь я ее уже не улавливаю. Я плохо помню мать. Сейчас я, скорее всего, даже не смогу ее узнать – она, наверное, совсем старая, сморщенная, как пожухлый осенний лист. Даже не представляю, сколько ей может быть лет. А может быть, она давно уже мертва? Я вполне допускаю это. Как, впрочем, и ее смерть при моих неудавшихся родах. Плацента – вот всё, что от нее осталось. Порой я думаю, что никакой матери и не существовало. Да, уверен в этом. Иначе и быть не могло. Убеденный атеист, я не верю в мать мира. В сознательном возрасте плацента исконно представляла как абсолютно автономный объект. Генератор прелюдии.

Однажды я задумался о том, что такие черты русского характера как нечеловеческая выносливость и поистине невыразимое терпение, периодически изливающиеся в эмоциональный катарсис, в плач души, невероятно сильно напоминают блаженные муки художника. Что это, нелепое совпадение?

Вам может показаться, что я жалуясь? Или хочу разжалобить? Что вы! Мое бормотание, конечно, может напоминать плаксивое заискивание, но на самом деле чувство жалости давным-давно утрачено мною. Я не способен никого жалеть, и в первую очередь – жалеть себя. В себе я давно отчаялся. Хорошая порка – вот чего заслуживает мой разум. И мои жестокие моноспектакли как раз и выполняют эту функцию мозгодробления. Блендер для мозгов – надо бы запатентовать изобретение! Да и кому мне жаловаться? Даже если бы я и хотел – комната-то совершенно пуста. Но почему же мне не надоедает задавать все эти вопросы? Кому я их задаю? Кто может на них отвечать? Чтобы придать происходящему хоть какой-то смысл, я выдумал себе силуэт. Тень пожилого джентльмена в истертом старомодном цилиндре. Он сидит в углу. Его щеки одеты в серебряную щетину. Он строг и раздражителен. Он не упускает возможности оскорбить меня. И этот шанс частенько ему предоставляется. Была бы на то его воля, он прибежал бы к телесному наказанию, я в этом не сомневаюсь. Мне иногда кажется, что он как-то по-особому держит свою трость с набалдашником из слоновой кости – берет ее таким образом, чтобы была возможность замахнуться. Кто он? Часть моего воображения? Очередная роль?

Призрак? Двойник? Ничто? По логике вещей я должен ненавидеть его. Я запутался в своих отношениях с двойником, я вижу в нем то возлюбленную, то Сверх-другого. А вот сейчас он предстал в образе этого беспощадного старика. Но я почему-то испытываю по отношению к нему какое-то подсознательное уважение. Его нелепый вид вовсе не кажется мне таковым. Я нахожу в его облике определенное благородство. Да, я неспроста прислушиваюсь к нему. Ведь я чувствую, что он говорит правду.

Возьми веник. Вон там – за плитой, в самом-самом углу. За трубу заткнут. И вымети, пожалуйста, звездную пыль, у меня на нее аллергия. Я бы сам сделал, но дико дрожат руки – здесь почему-то ужасно холодно. Как я попал сюда, в эти сумрачные бетонные своды, побуревшие от старости? В эту липкую сырость? Ничего не помню, это так же безнадежно, как попытки оживить в памяти свои предыдущие реинкарнации. Я ищу утраченное воспоминание о прежнем местонахождении и не обнаруживаю его. Память – это болото, события увязают в нем, постепенно погружаются на самое дно и перегнивают. Старые водоросли. Плесень и слизняки. Скрип петель. Невзрачный покой. Я здесь с рождения. Примем это за аксиому, за точку отсчета. Хотя это больше похоже на утробу. По всем признакам. Тем более что никакого рождения я не помню. Его, скорее всего, не было, и, судя по всему, вряд ли оно когда-нибудь приключится. Я уже слишком дряхл для готовящегося к появлению на свет. А было бы забавно – закричать, вдохнуть воздух, зажмуриться от распыленных в глаза сполохов. Я беззубый, заплаканный, почти голый, мочусь под себя – вполне могу сойти за младенца. Разве что чуть-чуть подретушировать. Самую, самую малость. Если как следует скрючиться – пожалуй, даже в детскую кроватку помещусь. Ля-ля, клю-клю-клю, агу, ню-ню, маме, ку-ку, ру-ру-ру! В коляску! На ручки! Писать! Вообще, насколько мне известно, никто не помнит момента рождения. Так что однозначного ответа не существует. Забавно – провести остатки своих дней, гадая, жив ты или нет. Занятие как раз подстать такому отщепенцу, как я. Но что, в сущности, изменит знание? Ровным счетом ничего. Всё равно мое сегодняшнее положение останется прежним. Нет, логика как метод здесь совершенно не подходит. Этим ты ничего не добьешься, только будешь всё больше утонать в тря-

сине. Поверь мне. У меня есть знание. И оно гласит: ты в утробе, и умрешь, как только покажешься на свет, ибо он слишком ярок для такого крота, как ты. Так что продолжай околывать в этом каменном мешке, корчиться в судорогах. Вдыхать гарь. Скажи спасибо, что тебе это дозволили. Часто кажется, что стены прозрачны, и об этом неизвестно только мне. Я сижу в стеклянном шаре, корчусь в судорогах и пью слезы. Снаружи кто-то есть, я точно знаю, я чувствую, как они наблюдают. Смогу ли я сопротивляться им, когда мое несуществование завершится? Смогу ли я быть? Смогу ли я закричать, когда у меня после стольких-то лет молчания появится голос? И должен ли он появиться? Или я так и останусь в этих каменистых сумерках? Плацента это или нет, но для присутствия здесь явно недостаточно места. Я готов аргументировано опровергнуть все досужие рассуждения психоаналитиков о блаженстве внутриутробного существования. Мне-то доподлинно известны все муки эмбриона. Я-то знаю, что в действительности это место непригодно для жизни. Ведь я слишком много времени провел здесь. Время... У меня всегда было слишком много времени. Или не было вообще? Но это одно и то же. Тогда какая разница? Нет, пожалуй, категория времени всё же неприменима к этой ситуации. Время должно иметь точку отсчета. А здесь оно ее лишено. И когда ты не наделен временем, то вплотную приближаешься к вечности. А точнее – к ничто. Но не к ничто-финалу, а к тому творческому ничто, из которого еще может возникнуть жизнь, которая может стать моей. Но она никак не возникает. Никак не возникает. Я повествую о том, что никогда не существовало, разумеется, не существует и сейчас, но, возможно, еще обретет свое существование. Возможно. Или уже не обретет? Скорее, так. Не знаю. Не знаю. Но продолжаю говорить. Пока я не замолчал, еще есть надежда. Еще есть крохотная надежда. Но я знаю, что даже ее спектакль очень скоро подчинит себе. Не отнимет, нет, а именно подчинит. И это замещение куда страшнее. Да, всё это вправду начинает напоминать одновременно и бессмертные души, и бесконечность сансары. Это христианско-индуистские инъекции дают о себе знать. Но нет, существует вполне осязаемая разница: моя прелюдия не завершится. Но хватит. Наес *hactenus**. Итак, пора сформулировать первые выводы. Принимая во внимание всю их неполноту и условность, наверное, стоит быть аккурат-

* Довольно об этом (лат.).

нее и назвать их не выводами, а гипотезами. Это будет более корректным. Итак, я в утробе. Я еще не родился, но, очевидно, уже зачат (иначе о чем вообще может идти речь?). Но на этом вся ясность обрывается. Когда зачат? Кем зачат? Здесь начинаются новые проблемы. Причем если вопрос «когда?» в целом представляется хоть и не праздным, но, по крайней мере, не первостепенным, то от вопроса «кем?» так просто уже не отделаешься. Он предполагает наличие отца и матери, предполагает существование прародителей, требует обращения к некоей предыстории, написания пролога к прологу. Ха-ха, так мы снова уйдем далеко в сторону и ни на шаг не приблизимся к цели! Зато увязнем в бесконечном и бессмысленном споре о яйце и курице! Присовокупите сюда еще и неизбежно вырисовывающуюся проблему отцов и детей, и тогда окончательно поймете, насколько ложен этот путь – ведь он ведет не просто в другую сторону, а в самую что ни на есть противоположную! Но нет, я рассматриваю это как очередную хитроумную ловушку. Поэтому сразу рискну предположить иное: что был зачат не родителями, а появился внутри плаценты самостоятельно, как *causa sui** или подобно тому, как насекомые заводятся в грязи. Кто-то начнет спорить, что они приползают туда извне. Но нет, я настаиваю, что они заводятся именно внутри грязи. И никак иначе! Выходит, если я появился в плаценте без чьей-либо помощи, значит и вырываться наружу мне придется в одиночестве? Но откуда на это возьмутся силы у существа, еще даже не оформленного в плод? Ожидать взросления? Как? Если время неродившегося стоит на месте? Если у него нет точки отсчета? Его минуты, месяцы и годы начнут отсчитываться, только когда он покинет плаценту. Чего же ждать? Пока появятся силы? Но меня почему-то не перестает бить озноб ожидания. А ведь здесь и вправду жуткий холод. Еще хуже, чем обычно. Странно, батареи вроде теплые. Или это мои руки настолько оледенели? Я их почти не чувствую. Наверное, парализованные ощущают нечто подобное. Укрой меня одеялом, я хочу согреться. Это должно меня успокоить. Знаешь, сегодня я позавтракал мухой. Вполне сносная пища. Только крылья ужасно невкусные. Похожи на сухой целлофан. А вот всё остальное – не так уж плохо. Не скажу, что сытно, но есть можно. Главное – голову сразу откусить, чтоб не жужжала. Интересно, а откуда им взяться в утробе? Вот он первый аргумент в пользу жизни – мухи. Ме

* Первопричина (лат.).

*mordent, ergo sum**. Убедительный аргумент, но лишь его одного слишком мало. Нет, я ничего не помню. От скуки я даже начал выдумывать воспоминания. Я сочинял целые годы, десятилетия, которых в действительности не существовало. Или все-таки были? Иногда мне кажется, что у меня был собственный ребенок. Да, был, и я заботился о нем. Я пеленал его в полиэтилен. Больше не во что было кутать. Всё вокруг было из полиэтилена. А он замерзал. У меня не было выбора. Или был? Теперь я уже не знаю. Его звали Игнатий. Или Инга. Я не могу вспомнить пол, не могу вспомнить имя. Но я любил его. Потом ребенок исчез. Или исчез я сам. Трудно сказать. В любом случае, мы оказались разлучены. По своей вине, или по чужой, но мы всегда оказываемся разлучены. Оказываемся лишены лучей. Оказываемся расщеплены, разобраны на части. Я на операционном столе, мне только что ампутировали руки. Над головой дряблым брюхом свисает потолок неба. Самочувствие удовлетворительное. Я еще не успел осознать произошедшее. Сквозь потолок пробивается голос диктора. Холодный и черствый, как у воспитательницы в детском саду. Сыплется старой штукатуркой, острыми осколками вонзается прямо в голову. От этого голоса меня еще больше знобит. Первые полосы газет поразительно однообразны, как некрологи. *У меня не хватит сил, чтобы разбить стены. Это очевидно.* Огромная арка, закопченная липкой сажей. Тебе – наружу. **Линейкой по рукам! За такое – линейкой по рукам! Теперь это уже не страшное.** Голова в любую секунду готова сдуться, как проколотый футбольный мяч. Металлическая распорка, закрепленная внутри, мешает ей. Только этот кусок железа и придает форму морщинистому сгустку. Если бы не он – череп в два счета можно было бы смять и растоптать. Он напоминает бесчувственной плоти о сущем: об ощущении боли. Ее искры снова и снова расщепляют слабое сознание. *По весне засохшие мухи возвращаются к жизни, обычно на Пасху. Первое время они не летают и даже не жужжат. Вялые, полудохлые они тихонько ползают по подоконнику, ожидая рассвета. Но полностью воскреснуть у них не выходит, ведь здесь по-прежнему ужасно темно. Да, ужасно темно. Потолок закоптило. Луна, почавкивая, сосет мою кровь через трубочки лучей. Вязкий багряный кефир неуклюжим осьминогом расползается по полу. Это воспоминание обо мне. В болото его, в болото!* Дай ластик, надо сте-

* Меня кусают, следовательно, я существую (лат.).

реть профиль *homo sapiens* с обложки, туда следует вернуть неандертальца, а точнее, – инфузорию-туфельку. Обвязал себя с ног до головы языком, длинным, как удав. *Иностраннным. Ну конечно, иностраннным, чужим – родной-то я давным-давно проглотил. Внутри меня – насекомые. Видимо, выжили. Или я сам муха?* Фиолетовый цвет. Цвет насилия. Ежевечернего насилия. Вы всего-навсего убийцы и только. Жалкая миссия... Испортившиеся продукты. Несвежие овощи. Пассажиры класса «А». Уродцы. **Можете начинать сыпать землю, я готов. Доставайте лопаты! Живо!** Но сперва посолите мои щеки. Щекотно. Сквозь слезы мир не кажется таким уж жутким. Сверху – бледно-зеленое, умирающее небо. Мхом поросло. До него можно рукой достать. Пощекотать. Это совсем не трудно, только вот рук нет. Дерево без ветвей. Лишь корни остались. Иссохшие и безжизненные. Ничего, скоро и их обрубят врачи.

корчеватели,
журчеватели,
брачеватели,
чакрователи,
мрачегнатели,
порчедатели,
включьярватели,
прошмандатели,
лучебратели,
сучебрагели,
старчежратели,
чумоблеватели,
вотчехрапели,
громчекляпели,
кровокрапели,
прочедратели,
подчадратели,
ночемракеры,
чернофракеры,
путчезракеры,
очедракеры,
пухопрахеры,
духокрахеры,
чревократы херовы.

В черепе сработала пожарная сигнализация. Нарушила стабильность оцифрованной темноты. Потревожила густую паутину. Перечит черепу. Кто-то звонит в дверь. Я не открывал ее последние два года. Засов уже заржавел. А они всё так же неугомонно трезвонят. Идиоты. А! Так это же, наверное, пожарные. Ну нет, вам-то я уж точно не открою. Сажу надо слизывать собственным языком. Вот так вот. Доступно изображаю? А огонь – он сам потухнет, ведь здесь почти нет кислорода. Теперь посолите мою кровь. Да, да, вены я уже перерезал. Сыпьте, сыпьте, не скупитесь, ага, прямо в рану. Вот хорошо! Вот здорово! Ай да доктор! Это будет моим личным вкладом в борьбу с диабетом. Огромная рыба бултыхается в грязи, пожирает кого-то, кажется, свинью. Свинье всё равно, она спит и сыто похрюкивает. Ей прописано лечение сном. Опять звонит телефон. Или мне мерещится? Ненавижу этот пронзительный звук! И тишину, которая наступает после него. Так умер я или еще не родился? Умею ли я двигаться или выдумал свою потребность в движении? Сколько будет всё это продолжаться? Могу ли я ставить вопрос о времени, если мое время еще толком не начиналось? Имею ли я право произносить «я», если меня толком не существует? Обо всем этом по-прежнему умалчивается. *Я всё так же не способен ни в чем разобраться, никак не могу избавиться от этой нечеткости, моим мыслям определенно недостает отчетливости. Я полностью утратил способность улавливать свои мысли, я потерял контроль над переводом своих рефлексий в слова или даже в жесты. Изреченное определенно требует осмысления, необходима передышка. Но что за дурацкая манера сваливать всё в одну кучу? Я то опережаю события, то наоборот возвращаюсь к этой идиотской истории о сотворении мира, то бездумно бросаюсь вперед, то воровато отступаю к несуществующей точке отсчета, постоянно теряя чувство равновесия. Произнеся фразу, я через несколько секунд забываю ее, и следующая уже почти с ней не связана. К тому же я никак не могу избавиться от ощущения, что кто-то постоянно меня торопит, и это сильно затрудняет процесс повествования. К тому же тема, за которую я взялся, слишком широка, слишком всеохватна; погрязнуть в повествовании, запутаться – от этого в таких случаях никто не застрахован. Вполне осознаю это, потому и хочу как можно скорее всё досказать. Вот только никак не могу определить, с чего лучше начать свой рассказ. Я не испытываю проблем, связанных с недостатком материала, наоборот, его*

переизбыток – вот, что приводит меня в отчаяние. Я раздавлен прессом собственных метафор. Однако горе тому, кто обвинит меня в рассеянности, мой диагноз совершенно противоположен – это маниакальная сосредоточенность. Но это концентрация на распаде. Так что не удивительно, что она перенимает все свойства последнего. Повествование расслаивается на ряд случайно и беспорядочно монтируемых эпизодов. Мне не дано довести до конца ни одного из своих начинаний. Зачем вообще я пишу, если у меня нет ни одной ясной, не вымученной идеи? Между тем, слова – это второй аргумент в пользу жизни. Второй после мух. Можно было бы порадоваться своему открытию, меня сдерживает лишь то, что иных доказательств в пользу моего бытия я не нахожу, и вряд ли они когда-нибудь будут обнаружены. Только мухи и слова. Закрывать лицо руками. Нужно закрыть лицо руками. Немедленно. Но я не могу. Руки ведь ампутированы. У меня больше нет рук. У меня больше нет ничего. Так давно нет ничего, что начинает казаться, что никогда не было... Наверное, всё это – отрешенность, внутреннее отсутствие – лишь следствие расстройства нервов, результат моего перенапряжения. Не более того. Заброшенное здоровье мстит мне таким образом за мое паскудное отношение к собственному состоянию. Неуравновешенность, жуткая бледность, синяки под глазами, наворачивающие на глаза слезы, дрожащие руки, шепот, срывающийся на крик – все симптомы истерии налицо. Голова дико раскалывается, мысли путаются. Судороги идей. Бессмысленные метания. Все истерические симптомы являются воспроизведением внутриутробного состояния. Да, все мои замыслы навсегда застынут на стадии зародыша. Это очевидно. Можно было бы избавить вас от этих нелепых деталей. Но текст всегда выигрывает оттого, что не боится показаться скучным. И с этим ничего не поделаешь. Нужно стереть границу между мыслью и словом. Но мысли умирают, еще не успев оформиться в слова. Пустяки. Ничего страшного. Это пройдет. Всё переменится к лучшему. Мои отравленные письма. Все до одного я, не жалея яда, высылал на один и тот же адрес, подписываясь бессмысленными именами. И еще я никогда не хранил черновики. Я съедал их или, на худой конец, рвал. А потом меня самого рвало черновиками. Так я пытался выbleвать будущий чистовик. Но не успел в нужный момент подставить руки. А если бы и прочел его, то в отчаянии осознал бы, что он написан не моим почерком. И пришлось бы его разорвать и начать всё сначала. Отправлять

послания на свой старый адрес. Хочется зайти в огромный собор и заорать во весь голос – совершенно не важно что. Интересно сама акустика. **Где вы намереваетесь провести медовый месяц?** Наждачной бумагой по открытой ране! Туда-сюда! Туда-сюда! **Виновен!** Во имя Овцы, Тины и Слепого Уха! Гони! **Черт побери!** Да поднимите же, наконец, эту блядскую трубку! **У меня уже звенит в мозгах! Кому там неймется?! А?!!** Стоп, что я несу? Кто, кроме меня, станет отвечать на звонок? Это же одиночная камера. Остальных больных давно выписали. Признаться, я и не помню, чтобы кто-нибудь другой здесь жил. В этой норе, одновременно напоминающей и сиротский приют, и дом престарелых, со времен сотворения спектакля не было никаких признаков жизни. Принадлежит ли это помещение мне? Нет. Точно нет. Почему я так в этом уверен? Не знаю, но я постоянно испытываю странное ощущение: я чувствую себя здесь кем-то вроде арендатора, причем такого, который либо платит слишком мало, и его держат здесь потому, что пока не нашли другого, либо вообще не платит, просто про него на время забыли. Его вот-вот должны выставить, но почему-то это никак не происходит. Что ж, в подобном случае вполне логично предположить, что кто-то обитал в этом помещении до того, как сюда вселился я. Однако и такое кажется маловероятным. Почему? Просто никаких признаков пребывания здесь кого-то, кроме меня, не наблюдается. Сколь чисто плотным ни был бы предыдущий жилец, помещение не может не оставить никаких следов его пребывания. Это невозможно. Похоже все-таки, что в этом бесконечном путешествии я единственный пассажир. Хотя выцветшие гнилые ошметки, в которые я одет, сильно похожат на какую-то потрепанную униформу. Кто же мне звонит? Может быть, это они, мои прошлые сослуживцы? **Перерезать шнур!** Вот то, что нужно! Отличная мысль! Как я раньше не додумался?! Ха-ха! **Это похлеще, чем перерезать вены!** Такого хода событий вы явно не ожидаете! **Ублюдки! Так вам! Ебучие скоты!** И по-дальше закинуть трубку, чтобы не вздумала опять совокупляться с той частью... Никогда не знал ее названия... Ну та, нижняя, на которой диск с цифрами, вы должны меня понять... Силы оставляют, и память тоже предает меня. Тем более – на такие пустые мелочи! И раньше-то я никогда не пытался засорять этими частностями мозг, так что уж требовать сейчас от гнилого куса перекишенного теста внутри моего потрескавше-

гося черепа. В любом случае, речь идет о нижней части телефонного аппарата, той, что является подставкой для трубки. Так вот, я с удовольствием вышвырнул бы ее в окно, но окон здесь нет. И вот она – тишина. В ней тонут последние отголоски телефонного звонка, серыми металлическими хлопьями оседают они на обшарпанных стенах. **Но что я наделал... Я же перерезал бикфордов шнур. Я принял его за пуповину. Как нелепо. Взрыва не будет. Теперь уже никогда не будет. Здесь никогда ничего не произойдет. Всё, что было нужно – это несколько секунд терпения. Всего то! И рождение бы состоялось. Но нет, отныне я навсегда увязну в тишине. Она, как липкий дым, станет медленно заполнять мои легкие и разъедать глаза. Больше не будет ни звука. Цыпленок никогда не вылупится. В поезде всегда лучше засытаешь, замечали? Как в люльке. Без разницы – товарный он или пассажирский. Ведь никакой разницы между пассажиром и товаром больше нет. Пассажир – это тоже товар. Я гложу внутри землянки. Только петля скрипит. Противно так. Некрепкая, видать, не выдержит. Оборвется. И повесить-то нормально не могут!** Слезы падают в разрез на руке, в багрянец варева. Рана закипает. Я заклеиваю ее скотчем. Нет, Игнатия не существует. Игнатий – это я сам. Это имя, которого мне не дали. Слышишь треск? Это раскалывается череп. Ослепительная кровавая вспышка. Заверни в фольгу мой мозг и запеки его в духовке. Дети роботов пьют генетически модифицированное молоко. Их стальные глаза отражают свет люминесцентных ламп. Инвестиции. Соглашения. Зола уже даже не дымится. Луна высасывает мои слезы. Я – пуля, сплюснутая в Великой Китайской Стене. Сгнию внутри *Quod erat demonstrandum**

Мне кажется, что в детстве кто-то рассказывал мне эту сказку. Не помню, когда, и не помню, кто, но почему-то уверен, что это не я сам ее придумал. Речь вот о чем: главный герой сказки – пожилой человек, который вот-вот умрет. Но он не умирает, потому что по негласному закону не может уйти из жизни, пока на небесах не окажется его отец, о местонахождении которого он, впрочем, ничего не знает. Отец же не умирает, потому что жив какой-то неизвестный дед – ветхий седовласый старец, который коротает свои дни на земле по одной единственной причине: его отец (прадед главного героя) тоже ещё жив. И так продолжается бесконечно, ка-

* Что и требовалось доказать (лат.)

жется, что каждый новый старец уже настолько дряхл, что у него-то точно не может быть живого родителя, а уж главный герой вообще кажется младенцем по сравнению с ним, но тут же оказывается, что существует еще один прапрапрадед, о котором никто не подозревал, и генеалогическое древо всё разрастается и разрастается. Впрочем, о чем это я?..

Но так, мы мало-помалу добрались до одной важной темы, которой всеми силами пытались миновать. Порой мы очень близко подбирались к ней, особенно когда рассматривали категорию сценария. Но пройти мимо нее все-таки невозможно: спектакль не может существовать без Драматурга. Сцена, декорации, актеры, даже режиссер – всё это не более чем функции. Все, кроме Драматурга – создателя спектакля. Дойдя до этой границы, мы замыкаем круг, ибо универсум спектакля оказывается лишь одним из слоев, лишь незначительным подспекатклем – лимбом. Но и величие Драматурга плесневеет уже через секунду после совершения этого открытия, ибо сам он в один миг превращается лишь в частичку нового спектакля, в элемент следующего слоя. Знакомство с Драматургом бросает нас в бездну безумия. Оказывается, во вселенной Театра существуют миллиарды спектаклей и драматургов. И все они ежесекундно создают друг друга. Но главный курьез заключается в том, что, даже дойдя до последнего предела, мы ни на миллиметр не приблизимся к разгадке: Великий создатель, в котором мы намеривались обнаружить конечную истину, окажется нашим старым знакомым – второстепенным персонажем самого первого, низшего слоя спектакля, тем самым жалким, никому не нужным драматургом – художником, запертым в плаценте. Вот оно – первое знакомство с великим таинством круга.

III

мономолекулярный распад



К началу XIX века политико-правовые доктрины либерализма, базировавшиеся на наследии французского просвещения, стали утрачивать свой революционный пафос. Сложившиеся в противоборстве с консервативным мировоззрением, эти убеждения, опиравшиеся на политэкономии классической школы, притязали на заполнение теоретического вакуума, образовавшегося вследствие кризиса в сфере идеологии. В результате процесса модернизации были сформированы новые властвующие элиты, новые иерархии привилегий, новое политическое сознание, стремительно вырождавшееся в политику индустриализации и колониализма, основными целями которой стали космополитизм рынка и обесцвечивание культурных особенностей. Новая система ценностей в кратчайшие сроки разрушила все региональные и национальные барьеры, размыв автономию и гомогенизовав всё идеологическое пространство. Начав с этического обоснования необходимости реализации либеральных взглядов, новая идеология постепенно переходила к прагматизму и принципу экономической эффективности, ориентации на прибыль и технологическую экспансию. Исторический период конца XIX – начала XX веков отличался существенными преобразованиями в социальном и экономическом развитии европейских стран. Тотальная урбанизация стала залогом конструируемой атомизации. Развитие рыночных отношений и свободной конкуренции, массовое внедрение наемного труда гиперболизировали имущественную и статусную поляризацию. Симптоматично и то, что уже на начальном этапе процесса ускоренной индустриализации проявились тенденции назревавшей экологической катастрофы: рынок призван был интегрировать все явления в новый искусственный порядок – подчинить себе всё, включая законы природы. Степень полезности стала определяться рынком, рабочая сила превращалась в товар, рационализация труда и работа в ритме машины монотонно разрушали личность, атрофируя творческие способности и стандартизируя мышление. Процессы перехода от интегрированного, преимущественно сельского, общества к дифференцированному индустриальному трансформировали традиционные социальные отношения и институты, а дальнейшие радикальные перемены и культурный кризис привели к уничтожению всех аутентичных связей, их инфильтрации в систему денежного обмена. Формирование новой системы происходи-

ло во всех измерениях и на всех уровнях социума. Постепенно создавались новые, чрезвычайно формализованные сообщества, структурированность которых с течением времени увеличивалась. В середине XX в. концепция социалдарвинизма оказала значительное влияние на формирование постлиберальных доктрин. В условиях всевластия рынка социальное расслоение и тотальная атомизация закономерно становились гарантом экономической стабильности, новую политическую мифологию отличала установка на создание сообществ конкурирующих индивидов. Фетиш товара стал основным рычагом управления общественной жизнью посредством колебаний рынка, сознание людей благодаря институтам социализации также обрело форму капитала, а конкурентоспособность стала единственным гарантом выживания в новых условиях. От геронтократии, теократии и консерватизма новая эра унаследовала многовековой опыт легитимации доминирования и дифференциации, а у так называемых тоталитарных режимов эта политическая система позаимствовала принципы централизации и всепроникновенности мифа, реализованные более эффективными способами и воплощенные в мировом масштабе. Новые методы управления сознанием к ожесточенному насилию присовокупили приемы массовой коммерческой рекламы, ставшие основополагающими в постлиберальных политических моделях. Новая система социальных отношений стала напоминать простое обслуживание машин, но превзошла его своей безысходностью и однообразием. Широкое внедрение конвейерных методов производства способствовало крайней специализации и раздроблению труда на частичные операции, что в свою очередь закономерно привело к фрагментации сознания. В дальнейшем компьютеризация производства минимизировала всякую человеческую деятельность до уровня абстрактного труда. Кристаллизация политических ориентаций сформировала внутрисистемное мышление, интегрированное в монолитный социальный порядок – единообразную гомогенную систему, в которой массы оказались лишены всякого негативного мировосприятия. Обыденное сознание стало воспринимать действительность в ее застывших формах, искусственно созданные иерархические структуры, распространившиеся во все сферы общественной жизни, были окружены ореолом естественности и начали идентифицироваться с неизбежной реальностью, подлинной действительностью, самооче-

видной истиной и высшей мудростью, более того – они получили божественное основание, нимб нерушимой святости. Эти формы профессионально организованного насилия наряду с шаблонным образованием и стандартизированным социальным поведением стали воплощением идеи прогресса, создав мифологизированное мышление, по своей уникальности сравнимое лишь с генетической запрограммированностью насекомых. Новые культурные нормы заставили миллиарды отдельных особей мыслить синхронно. Миф оказался реальнее, чем сама действительность. К концу XX века эта монополизация истины принесла видимые результаты: революционность полностью утратила легитимность в глазах масс и заняла свое место в исторических архивах, инфильтрировавшись в списки политических утопий прошлого, а реформизм и парламентаризм к этому времени стали единственными синонимами конструктивности. Кроме того, новая политическая система отличалась нехарактерной для прежних форм власти способностью кооптировать потенциальную оппозицию, идеологические структуры стали достаточно гибкими и динамичными для локализации очагов социального недовольства. Стремительно возрастающая деструктивность прогресса обусловила уничтожение любых внесистемных форм мышления (в лучшем случае они оказались сведены до состояния недоказуемой гипотезы). Новые системы обнаружили способность расширять участие во власти контрэлит и включать их в свои структуры, не теряя при этом политического контроля. Донести до массового сознания малейшее возражение по отношению к рыночному дискурсу стало невозможным. Модернизированные механизмы власти вырабатывали социальную ткань, снимающую или максимально редуцирующую любые противоречия. Постлиберальный миф гиперболизировал значение выбора, детализировав сознание, отключив возможность восприятия всеобщего, сконцентрировав внимание индивида на частном; и в таких условиях личность неизбежно растворялась в политической системе. Парадоксально, но постлиберальный индивидуализм тотального разобщения привел к стиранию всех личностных черт. Индивидуальность как таковая утратила статус объекта социального одобрения, а конкуренция во всех сферах жизни способствовала разложению самоидентификации, укрепляя позиции догматического антиперсонализма. Полномасштабная интеграция требовала абсолютного схождения в функционировании производственных

механизмов, идентичности субъектов с точки зрения наличия в них базисных институциональных элементов, которые могли бы стыковаться в транснациональные комплексы, сохраняя при этом работоспособность и имея запас прочности, потребный для компенсации усилий на соединение различных внутрисистемных узлов. Общественные потребности трансплантировались в индивидуальные влечения и устремления, они начали развиваться в предварительно заданном направлении. Отфильтрованные мнения атомов-индивидов концентрировались в абстрактное общественное мнение. Господство экономики и модернизированных форм бюрократии уничтожило автономию науки, автономию искусства; автономия чего бы то ни было в принципе оказалась невозможной. Новая модель предстала абсолютно безальтернативной: свобода превратилась в выбор внутрисистемных вариантов развития. Овеществление человеческих отношений и социальное отчуждение закономерно привели к разложению самого понятия «личности», интегрированной в логику прибыли и ставшей разновидностью менового объекта. Рациональная механизация стала определять любые индивидуальные рефлексии. Овеществленные, механически объективированные чувства оказались неукоснительно отделены от совокупной личности человека. Индивидуализм идентичности и культурная однородность в системе социальных атомов отрицали самодостаточность, не соотносящуюся с идеей прогресса. Коллективный овеществленный рассудок атрофировал последние рудименты индивидуального. Эти экономические условия породили кризис доверия, индивид перестал верить даже самому себе, пребывая в состоянии перманентного страха. Отдельные особи, лишённые всяких связей друг с другом, стали объединяться в группы исключительно с целью нападения на более слабых.

Свет выключается. Темноту рассекают вспышки фотокамер.

*Слабые отголоски хора пробиваются сквозь грохот тарелок,
звон монет и болтовню.*

Голос в темноте: Вглядись в дым. Ты видишь проводника? Он стар, в его руках серебряный посох. Проводник мертв. Ты не заметила? Да, он горазд притворяться.

Ты готова покинуть город? Да-да, прямо сейчас. Собирайся. Слеза блеснула. Ты еще помнишь? Я тоже.

Дети бегут к реке. Они прекрасны и безумны. Они успеют. Они должны успеть.

Ток поступает в провода вен. Шелковые сумерки завернули в обильный кокон грозу пробуждения. Мрак уже начал медленную пульсацию извне рассудка. Все стены чувствуют ужас воскресения.

*По зрительному залу стремительно
распространяется шипение змей.
Портняжные ножницы разрезают батон хлеба.*

Залатав души-бреши
Господаревой усмешкой
Ржавым когтем – в серебро,
Выскоблив нутро.

В темноте кровотоцит раздробленный гранат солнца. Стволы берез покрыты заплесневелой изморозью предела. Старуха тычет пальцем в небеса и что-то шамкает. Разобрать невозможно. Мокрой мукой засыпаны лица. Кожа вскормлена бледной сыпью. Береста скукожилась в сухой сверток, обнажив язвы оскалин. Замерзшие капли застыли осколками льда прямо на сухих листьях. Дверца погреба затворена.

Он опоздал на Ковчег. Отчаливаем без него!

Насекомые расползаются,
разбегаются во все стороны,
косы темноты расплетаются,
тело перьями кроют вороны,
ржавые струи смывают
последние послания.
Осколки не оживают,
остывают вечнокаменны.
Прозрачны для взгляда,
невидимы для времени,
преисполнены величия
обретшие косненье.
Прополощи марганцовкой горло,
выплюнь темно-бурые сгустки,
в мутной жиже узрев отражение,

окуни в это варево руки.
Виноградом раздавлен
стекаю по стенам.
Окровавленный кафель
и битые стекла,
чернильные пятна,
засохший мякиш,
сгнившие стены,
зола на коже.
Я рядом с тобой.
Я рядом с тобой.
Как ты себя чувствуешь?
Как ты себя чувствуешь?

ВНИМАНИЕ! ВЫХОД СКОМОРОХОВ!

Оперные вокалы (*антифонное пение*):
Дозволь же сделать это мне!
Очарователен пейзаж!
Ну, не молись же натошак!
Я жду его не первый час!
Плетусь плакучим холодком...

Декламирующий баритон заглушает все голоса:

Обнаженные ноты,
величественные в своей радости,
рождаются в дебрях фольклора,
священным молодым пламенем
бесстыдно прорастают
сквозь грязную ржавчину,
сквозь мокрую корку пепла.
Взмахом крыльев раскалывая тишину,
грядут новые волны.

Через сцену медленной рысью гарцует белый конь, на нем – обнаженная наездница. Микрофоны распределены по панораме таким образом, чтобы цокот копыт перемещался справа налево – против направления движения.

Бессмысленный голос из темноты возобновляется:
Солнечные лучи, словно окурки, прожигают кожу, всверливаются в тело. Над головой – минареты, болезненно тонкие, как ножи поганок, с характерными юбочками балкончиков. Они отвратительны.

Созерцатель бессмысленного побоища, свидетель чудовищной резни, я прошу лишь мгновения магии.

Мертвая ледяная луна выпала на алюминиевую миску неба как зернышко из сита. Я держу старое решето в костлявых бледно-пурпурных руках. Я уже разлагаюсь на воспоминания. Я готов к священному инцесту со смертью.

Сухой глиной раскрошив сердце,
Поднимается к небу под скрежет ставен
Тот, кому посчастливилось уцелеть.
Вспоров его живот, я обнаружил внутри солому.

Затемнение. Звон разбивающейся посуды.

Этот цвет всегда был таким. Во всяком случае, никто не помнит другого. Но даже если приглядеться к бровям, всё равно невозможно понять, покрылись ли они инеем или, правда, седые. Почти прозрачны, искусственны. Такие приклеивают актерам в самодеятельных бродячих театрах. Их делают не то из тонкой лески, не то из ниток, и издалека они действительно немного похожи на настоящие, а их обладатель гордится своей убедительной внешностью. Но эти как раз наоборот: подлинные, но более всего напоминают подделку. Так же, как и кольшущиеся над пергаментом морщинистого лица пепельные пряди. Под ними – истлевшие стеклянные глаза, все тот же угрюмо-усталый взор. Бесконечно долго можно смотреть в них, но всё равно отведешь взгляд первым. Соперничество бессмысленно. Под зрачками застыли слезы. Немыми капелками взгнездились на подводящих выжженные глаза синяках. Застыли в раздумье. Или тоже заледенели, как брови? Хрустальные невидимые зерна. Сеятель разбрасывает их повсюду, даже на заведомо мертвую почву. Но удивительно – они всегда дают всходы. Эти ростки невероятно живучи. Хотя полностью покрыты льдом. Вглядись в лицо старика. Оно угасает в глубокой печали. Морщины, обтянутые жестким полиэтиле-

ном отмирающей заиндевевшей кожи, переплелись густой паутиной, напоминая темные трещины, зияющие в сухой земле. Эти глубокие рытвины избороздили весь лоб, они делают его похожим на смятый мешок. Кажется – вот-вот, и лицо сползет с черепа мягкой маской, упадет под ноги, как кусок мокрого теста. Глаза, пронзая тебя насквозь, одновременно как будто пытаются спрятаться, а наряду с безразличием в них читается неподдельный ужас. Если ты попытаешься пожать руку старика, он не станет возражать, может даже едва заметно кивнуть головой, но останется безмолвен. Молчание уже давно стало его визитной карточкой. Ему не хочется произносить бессмысленных слов, он не считает общение хоть сколько-нибудь полезным занятием. Когда-то он любил крик – неистовый, всеобъемлющий, яростный. Только он способен был заглушить жгучую боль. Крик был последним, что у него оставалось. Он еще помнит о нем. Он считал его единственным шансом обрести присутствие. Почти никто кроме старика даже не задумывался об этом. А старик знал с самого начала. Он не предвидел, он просто обладал знанием. И у него был крик. Вопль, разрывающий холодные каменистые сумерки. Он вложил в этот хриплый кромешный звук все естество, всю свою короткую жизнь. Он сражался до последней крупинки воздуха. Но со временем крик превратился в сдавленный кашель. И единственным выбором старика стало молчание. Такое же бескомпромиссное и отчаянное, как и крик. Старик безмолвствует. Его рот только изредка раскрывается – для глубокого вдоха. Иногда ему нравится втянуть в легкие морозный воздух, обрывки погибшего крика. Маленькая роскошь, которую он оставил себе. Маленькая слабость. Кажется, даже взгляд на мгновение становится не таким тусклым. Но это наверняка мерещится, ведь его взор не может меняться. Старик слеп. Он слеп с самого рождения. Но у него было знание. Оно и осталось, просто он решил ни с кем не делиться тайной, не разбивать знание на множество осколков. Ему достаточно было двух бесцветных кусочков льда в глазницах. Ледяные стекла были пологими только снаружи, изнутри же они всегда резали слабую изможденную плоть. Старику был хорошо знаком вкус собственной крови – кислый и терпкий. Временами ему даже нравилось проглатывать этот сок. Так же, как и слезы. Они возникали как крошечные эмбрионы, появлялись в самом центре, в самой глубине стеклянного зрачка, и только позже вызревали в зернышки. Этот процесс не был быстрым, каждая слезинка рождалась в бесконечных муках. Слезы ста-

ли младшими сестрами крика. Крик никогда бы не полюбил их, но им повезло – они родились уже после его смерти. Однако они были во многом похожи на своего брата. Они были порождены одной и той же болью. Старик почти привык к боли, ставшей для него единственным доказательством того, что он не мертв. Других признаков жизни уже давно не наблюдалось. Но боль никогда не была свидетельством присутствия, нет, он не был настолько глуп, чтобы путать выживание с обретением присутствия. Ему было смешно, когда проходящие мимо смешивали эти понятия в один бесформенный сгусток. Эта истина казалась настолько очевидной для старика, что он не мог уразуметь факт бытования подобной нелепости. Конечно, он никогда не подавал виду, ни один миллиметр дряблой кожи не вздрагивал, хотя внутри всё буквально тряслось от сумасшедшего хохота. Его смех свидетельствовал о невыносимой, смертельной боли. Но никто ни разу не слышал его смеха. Старик научился контролировать оболочку, доведя ее до состояния промерзшей корки. Это была его вторая тайна. Он не любил попусту растрчивать свое безумие. Когда шел дождь, старик едва сдерживал себя, чтоб не подставить свои бледные ладони под холодные струи. Он слышал дождь, внимал каждому шороху, каждому удару капель. Он хотел бы ловить их, а они ударялись бы о ладони и раскалывались, гибли и снова воскресали, разбрызгиваясь во все стороны, струясь сквозь пальцы. Это казалось ему красивым, напоминало крик. Ему не нужно было видеть красоту, чтобы судить о ней. Он никогда не любил зрячих. Иногда ему даже было их жалко. У них не было знания. Зрячие ненавидели дождь, при первых ударах грома, они начинали разбегаться, прятаться. А старик ощущал неповторимую красоту разбивающихся капель. Капли дождя были сродни росе – столь же совершенны. При вспышках молний эти жемчужины переливались неоновым светом. Старик подозревал, что его ладони стали слишком мягки от времени – как вата, и капли не смогут разбиться об эту мягкость. Но он желал взять их в руки, сохранить, пусть бы даже они замерзли, как слезы в глазах, мечтал хоть на миг ощутить их обжигающее прикосновение. Однако эти действия были бы равносильны нарушению молчания, и потому старик оставался недвижим. Он научился контролировать оболочку. Беспощадно подчинил ее себе. Стекланный взгляд разрезал холодные сумерки. Издалека сгорбленная фигура казалась приросшей к длинному забору. Он уже не помнил, как оказался под этой оградой. Но с тех пор старик никогда не покидал этого места.

Он не решался встать, потому что его ссутуленная спина поддерживала один из пролетов старого забора. Заменяла собой один из сгнивших столбов. Если бы старик встал, то часть изгороди моментально бы обрушилась – остальные столбы, скорее всего, не выдержали бы. Ему не было жалко этой трухлявой ограды, совсем нет – наоборот, ему всегда хотелось узнать, существует ли что-либо по ту сторону. Старик не вставал по иной причине: он боялся, что весь забор обрушится прямо на него. Поэтому ненавистный пролет ветхой изгороди нелепым образом оказывался единственной гарантией его выживания. Старику не хотелось умирать. Внутри еще теплилось воспоминание о крике, и он не хотел терять его. Проходящие мимо иногда вовсе не замечали старика, а иные настолько привыкли к этому подпирающему забор силуэту, что уже не воспринимали его как живое существо. Старик был профессиональным актером. Но он понимал, что умрет, так и не осознав, существует ли что-либо по ту сторону ограды. Старик был слеп. Он не ведал, что за оградой – кладбище.

Капли лизали оконное стекло, омывая его своей прозрачной кровью. Они с размаху бились о прозрачную стенку и раскалывались на тысячи маленьких капелек. Казалось, что от силы удара маленькие отлетали обратно – далеко вверх, но потом снова падали, успевая за это время вырасти, и опять раскалывались на еле видимые капельки, точь-точь как их предшественницы. Раньше он пытался считать их, но в какой-то момент сбился со счета.

Святая взяла в руки свечу. Крошечным светлячком тусклое пламя отражалось в пенящихся разводах дождя. Горячий зеленый воск мерцающими слезами проливался на руку святой, обжигая тонкие бледные пальцы. Она освещала мне дорогу. Другой рукой она отгоняла глупых мотыльков, так и норовивших опалить над плескавшимся зеленоватым огоньком свои тонкие трепещущие крылышки. Изумрудный воск капал на холодный пепел под ее ногами. Вместе с воском таяло ее сердце.

История. Моя бесконечная история. История истерии. Мистическая история болезни с нелогичным, прерывистым сюжетом. Конечно, она может показаться вам конгломератом бессмысленных обрывков, но в моем сознании

вся эта хаотичная масса уже давно скипелась в целостное повествование. Будь я в своем уме, возможно, оно было бы более увлекательным. Хотя собственно повествования я начать никак не могу, даже меня самого уже изрядно утомил мой неудавшийся рассказ. У него не может быть конца, потому что он никак не может начаться. Но он продолжается, хотя еще не начинался. Разве такое возможно? Нужна новая грамматическая форма, чтобы выразить это средствами языка. Вот так задачка для филолога! Да, выдаивая из смятого комочка капельки крови, я говорю о чем-то, пока еще не имеющем имени, о чем-то, пока еще не сбывшемся. Говорю, не имея никакой уверенности в том, что оно сбудется. А ведь я потратил не один год на это так называемое повествование. История уже рассказывается независимо, а то и вопреки моей воле. Удивляюсь, что вы еще терпите. Вашему упорству позавидовал бы любой психотерапевт. Ну-ну, не обижайтесь, не обращайтесь внимания на мое брюзжание. В конечном счете, оно сильно напоминает недовольное бормотание вредного старикашки, который не упустит возможности потявкать на ухаживающих за ним близких, но при этом прекрасно понимает, что без них он не способен даже на то небольшое, что ему дозволено в настоящий момент. И вспоминая об этом, он услужливо улыбается, сменяя бред на жалость. На сострадание к себе. Но о чем я? Ах, да – о бесконечной истории, я продолжаю выкашливать остатки этих бессвязных мыслей. Знаете, а ведь мне все-таки нравится ее рассказывать. Несмотря ни на что. Да, вы правы, она затянута, однообразна, скучна, почти бессмысленна. Она переполнена отвлеченными рассуждениями и придаточными предложениями. Я и не собираюсь этого отрицать. Да, я постоянно пережевываю одно и то же, и, к сожалению, уже не могу это контролировать. Каждый раз мусолю одни и те же эпизоды с таким видом, словно обращаюсь к ним впервые, но при этом толком не могу даже наметить фабулы. Персонажи в моем рассказе лишены имен, а если у них и есть прозвища, то они не имеют никакого значения и с легкостью могут быть подменены на любые другие, ведь все они так походят друг на друга, все они переживают одно и то же, им так легко меняться ролями. И эти архетипы кочуют со страницы на страницу. В моей истории нет ясно очерченного действия, и, судя по всему, не предвидится мало-мальски определенного исхода. Она достается мне по частям, а я всё жду, когда же они

выкристаллизуются в целое, не как рассыпанные фотографии, вставленные в альбом, но как неповторимая констелляция разбитых стекол в калейдоскопе. И уже не уверен, дождусь ли. Да, по правде сказать, и не был уверен. Но все-таки она мне нравится. В ней что-то есть, что-то, с чем не хочется расставаться. Что-то, скрывающееся за ворчанием. Что-то, чего я недоговариваю. Что-то, чего вы не слышите.

Девяносто два. Девяносто. Два. Два. Девяносто. Девяносто. Два девяносто. Девяносто два. Жидкая бороденка трясется. Алые слюни капаят на пожелтелое тело, дряблкое, как перекишшее тесто. Девяносто два года меня пропускают сквозь зеленую улицу. Сквозь зеленую улицу. Зеленый коридор. Тоннель свободы. Вместо стен, вместо стен по краям коридора – деревья. Да, да – деревья. Целая аллея. Длинная и стройная. Аллея пытки. Я гуляю по ней всю жизнь. Деревья невысоки, они чуть выше моего роста. Их ветви тонки – толщиной в мизинец. Дует обжигающий ветер, и ветки хлещут меня по спине. Вся кожа изрезана беспорядочным переплетением алых линий. Узор ежесекундно меняется. Всегда жарко. Всегда жарко. Я насквозь прожарен беспощадным солнцем. Я харкаю темно-красными сгустками крови. На солнце раны быстро засыхают, и кровавое месиво мгновенно превращается в шершавую корку. Но она трескается от новых ударов, и раны снова распускают свои лепестки. Адская баня начинается заново. Иногда я падаю на колени и натыкаюсь на шипы корней и разбитые стекла. Но всегда нужно вставать. Всегда. Такковы правила. А эти бессмысленные правила с незапамятных времен подменяют реальность. Если у меня не хватает сил встать, то меня поднимают. Осколки впиваются в мои ноги. Никакого холода. Это иллюзия. Никакого холода. На улице всегда жарко. Холодно только на витрине. Манекенов нужно замораживать, иначе они начнут гнить. Но витрина этого морга снова разбита. Я вечный дезертир. Прохожие одеты в камуфляжную форму цвета хаки. В их руках розги. Прохожие дубасят меня на глазах у манекенов. Ветки. Зеленый цвет. Жара. Всегда жарко. Мокрые розги. Темно-красные сгустки кровотокащих роз. Я гнию. Манекены линчуют меня на глазах у прохожих. Корка. Ветер. Сквозь строй. Розги роз. Я не боюсь плетей, мне до ужаса скучно. Девяносто два. Подмененная реальность. Зеленая улица беспощадна.

Дождь. С него всё начиналось. Им всё и закончится. Он извечен. Он был всегда. Сколько себя помню. И вот он возвращается. Редкие волосы совсем промокли. Грязной паутиной они прилипают к лысине и лбу. А бороденка липнет к щекам. Священное омовение. Мне зябко, я кутаюсь в свое старое пальто. Ничто не способно нейтрализовать мою нервозность, раздражают любые звуки, малейшие шорохи, мой мозг конвертирует их в ужасный несмолкающий грохот, немолчный гул. Иногда мне становится смешно. Я улыбаюсь своим беззубым ртом и, вытаращив глаза, бью языком по уголкам губ. В эти минуты мне наплевать, что они смотрят на меня. Только в эти мгновения моих воспоминаний об игре. В остальное время я полностью подчинен другим. Внутри груди – ржавая арматура. Я чувствую, как она скрипит, как дырявит меня изнутри. Я жду, когда же, наконец, первый кусок металла рыжей спиралью вылезет наружу, выкорчевав сердце. Тогда я выдерну эти холодные прутья из расплосованной грудной клетки. Облезлая осень – вот лучшее определение моему плшивому состоянию. Луна корчится в судорогах, словно червь на углях. Грузовики, грязь, канализационные люки, мокрая земля. Резервуары, заполненные застоявшейся дождевой водой. Я возвращаюсь на витрину.

Снег. Идет снег. Это сыплются серые хлопья старости. Стекло вернули на место. Всю жизнь я перебегаю туда и обратно. Теперь я снова здесь. Перед глазами – бесконечный белый занавес. Огромная простыня. Сквозь нее ничего не видно. Эта пыль обжигает кожу. Жуткая белая ночь. Она извечна. Я в кандалах снега. Закован в холод. Снег медленно падает на мою руку. Рука. У меня есть рука. Это всё, что от меня осталось. Рука, в которой снег. Больше ничего. Только это. Только это. Больше ничего. Рука и снег. Собственно, ничего другого у меня и не было. Никогда не было. Мозоли, морщины и ссадины. Они там – под снегом. Я еще помню их. На снег даже приятнее смотреть. Хотя он тоже распахан морщинами. И напоминает о руке. Я мечтаю избавиться от памяти. Пальцам холодно, но с этим нельзя ничего поделать. Ужасно нелепо. Раньше я пытался сжимать кисть в кулак, но теперь рука оледенела. Я не могу пошевелить пальцами. Ладонь все больше наполняется ледяным снегом – новыми горстями серебра. Кулак я тоже помню. Меня знобит от памяти. Холод разъедает кожу и забирается внутрь ладони, разрезает вены, грызет артерии, ползет по предплечью. Я промерзаю. Иногда мне снится,

что рука держит кисть. И тогда я просыпаюсь от сумасшедшего хохота.

Дождь из земли и пепла. Последний абзац в моей версии времен года. Он вечен. Я начинаю привыкать к нему. Земляные струи разбиваются о сухое лицо. Песчинки подменили капли. На моих похоронах многолюдно. Сплошная стена земли, черной и мерзлой. Сыплется, как выкрошившийся из папиросы табак. Как пепел. Да, она напоминает мне пепел. Дождь в пустыне. Когда песок высыхает, он почти не отличается от пепла, разве что не так легок. Дождь из пепла, дождь из земли, в сущности, какая разница? Совершенно никакой. В конечном счете, всё это – синонимы зеленой улицы. Хотя нет, я смешиваю категории, в которых едва начал разбираться. Скорее так: прогулка по зеленой улице неизбежно оканчивается дождем из земли. Коридор упирается в пепельную стену. У этого явления бесконечно много имен, в них элементарно запутаться. Но проникнув в самую суть, внутрь дождя, уже не ошибешься. Тут вся эта хаотичная масса событий выстраивается в одну последовательную и логичную цепочку. Холодный пепел. Оболочка побеждает. Она оказалась прижизненной кремацией. Девяносто два – и в ад. Вяну. Ничего не слышу. Арматура. Всегда жарко. Не реагирую. Больше ни на что не реагирую. Снег в руке. Земля сыплется по щекам. Засохшая кровь крошится в ладони. Крошки крови. Пыль киноплёнки. Цвета тускнеют. Я не подам вида. Ни за что. Попусту растрачивать свое безумие – этого я никогда не любил. Сейчас не время. Нужно переждать дождь. Это могло бы помочь, если бы я не был абсолютно уверен в том, что за пепельной стеной – продолжение зеленой улицы. Продолжение бессмысленного ожидания. Смерти? Если бы смерти, тогда все было бы намного проще, – ожидания рождения. Сколько можно, ведь я уже почти уверен в том, что подлинного не существует. Присутствие невозможно, допустим лишь его поиск. Я никогда не покину спектакля. Он властвует даже над смертью.

Бурые, покрытые липкой грязью стены. Затхлая сырость. Босые ноги хлюпают по мокрой земле. Бурые стены. Он идет вдоль них по узкому проходу. Пробирается сквозь мусорные баррикады, тела, сваленные вместе с мусором на дорогу, и россыпи гниющих каштанов – расколотые сердца великой матери. Капли падают и бьются о землю. Серд-

ца продолжают раскалываться. Он постоянно слышит этот прозрачный звук. Других, непривычных звуков он не переносит, они бередят в нем страх. Он переступает через свалку тел. Ему еще предстоит упасть рядом с ними. Он знает об этом. Но время еще не пришло, и сейчас его больше заботит узкая улочка. Иногда стены почти смыкаются, и проход становится настолько узким, что протиснуться в него можно, только изрядно сгорбившись. Его лохмотья цепляются за стены, а кожа на плечах и спине сдирается до крови. Но он спокоен. Не то чтобы ему безразлична боль, просто он свыкся с ней, научился ее терпеть. К тому же он знает, что рано или поздно стены снова разомкнутся, и тогда ссадины заживут. Его плоть срстется, но лишь для того, чтобы опять стать изодранной. Ведь через некоторое время стены снова начнут смыкаться. Он знает лабиринт, как свои пять пальцев. Вы думаете, он ищет выхода? Что вы! Он двигается, чтобы вконец не околеть в этой постылой сырости. Лишь ради этого он продолжает движение. Он даже не открывает глаз, настолько хорошо ему знакомы эти грязные переулки. От прикосновения к стенам на ладонях остается холодная слизь, норвящая заползти под рукава его обветшалого пальто. Привычным движением он старается стряхнуть ее на землю. Иногда это удается.

После ампутации я передвигаюсь на деревянной тележке. Несколькo старых досок прибиты на ржавую раму с четырьмя колесами. При передвижении тележка издает неприятный скрип. От него невозможно избавиться, я смазывал конструкцию машинным маслом, но это почти не изменило положения вещей. Моя тележка по-прежнему пронзительно скрипит. На похожих повозках такелажники перетаскивают грузы средней тяжести. Я отталкиваюсь от асфальта специальными железными подпорками, которые теперь почти всегда приходится держать в руках. Я в шутку называю их утюжками – они действительно чем-то похожи на те металлические приспособления, которые до изобретения электричества использовали для того, чтобы гладить белье. В некоторых восточных странах, по-моему, до сих пор еще практикуется это ремесло – гладильщиком, кажется, называют такого работника. К нему, как в прачечную, относишь белье, а на следующий день его возвращают выглаженным и аккуратно свернутым. Я даже слышал, что они учатся гладить ногами, чтобы

во время работы руки были свободны для свертывания уже готового белья. Так они успевают выполнить больше заказов. А если бы у них не было рук, они всё равно смогли бы гладить. У меня же всё наоборот. Я держу эти утюжки в руках. У меня другое ремесло. Глажу ими шершавый асфальт. Я ни на что не претендую, но мне почему-то кажется, что это более тяжелый труд, чем работа гладильщика. Разгладить бетонные морщины вручную вообще едва ли возможно. У меня ничего не получается. Дно утюжков уже сильно расцарапано и вот-вот они начнут крошиться на металлические осколки. Я зачем-то напялил рваную тельняшку, не знаю точно, чем я руководствовался, но, по-моему, именно дырявая тельняшка более всего соответствует моему внутреннему облику. Нет, эта пошлая аналогия с полосами жизни ни при чем, так же как и отвратительное социальное положение моряков. Все безногие нищие должны носить тельняшки – я так считаю, и точка. Никаких дальнейших объяснений не дожидаетесь. Конечно, приходят в голову мысли о том, что моя одежда похожа на арестантскую форму, но и эта метафора будет слишком прямолинейной. Слишком плоской, не передающей всего замысла целиком. Бледной аллегорией – не более того. Именно поэтому я не вижу никаких причин для дальнейшей трактовки. Воздержусь от высказываний по этому поводу. Черт побери, это мое право!.. Все-таки именно благодаря этим лохмотьям я получил ту толику независимости, которой теперь обладаю... Главное – сделать так, чтобы вокруг не было прохожих. Нет никого равнодушнее них. Вот почему я по-прежнему частенько наведываюсь в метро. Кстати, для того, чтобы вкатиться в вагон, нужна особая сноровка. Нужно точно рассчитать время, чтобы успеть перемахнуть через трещину между вагоном и перроном, пока двери не закрылись. На моей шее бессмысленно болтается старая помятая шляпа – предполагается, что в нее должны бросать милостыню. Я украсил ее увядшим цветком, чтобы она привлекала чуть больше внимания. Но шляпа уже давно пуста. Новых монет в ней не прибавляется. Пассажиры редко обращают на меня внимание. Ха-ха! Мне ли не знать пассажиров?! Они слишком замкнуты в себе, чтобы замечать, что происходит вокруг. Пассажир не подает пассажиру. Да, взаимоотношения между самими пассажирами – это тоже вариант взаимоотношений с другим. *Vector vectori pupus est*^{*}, помните? К тому же я сам не особенно люблю устраивать цирковые представления на-

* Пассажир пассажиру – манекен (лат.).

подобие религиозного театра сторбленных старух, которые чуть ли не на голове стоят, чтобы на них обратили внимание, и при этом еще умудряются креститься. Нет, я тихонько ползу между креслами: заметят – так заметят, нет – так нет. Чего уж там. Да и самих пассажиров становится всё меньше и меньше. Поздно уже. Вагон, в котором я еду, грязен и пуст.

Я беру в руки губную помаду и толстым слоем наношу эту густую красную краску на свои губы. Стараюсь краситься как можно более вульгарно и неаккуратно, во многих местах липкая жирная краска блестящими кровоподтеками выступает за контуры губ. Но я не могу остановиться, и грим начинает заполнять вмятины под глазами: черно-синие круги становятся ярко-красными. Я стою перед зеркалом и улыбаюсь во весь рот. Моя улыбка напоминает кесарево сечение – кровавый разрез на бледной, потрескавшейся, как сухое тесто, коже. Из рта жуткий, чужой, кровавый смех течет прямо в мои глаза. Я – отвратительный клоун-манекен.

Дубовый письменный стол. За все эти годы он стал обшарпанным, исцарапанным и истертым. Круглые следы от прилипших стаканов и чашек, разводы и пятна покрывают всю его поверхность. На столе свалены пыльные книги, которые долгое время никто не открывал. К ним вообще не прикасаются, они просто занимают место, впрочем, как и сам стол. Он уже давно стал использоваться исключительно для складирования старых вещей. Для этого куда больше подошел бы комод, но в квартире его никогда не было, и за неимением ничего лучшего для этих целей стал использоваться письменный стол. Еще на него иногда взбирались, чтобы поправить пыльные портьеры. Конечно, любой рассмеялся бы, если б узнал, что когда-то за этим столом некто мог сидеть за печатной машинкой или окунать перо в стоящую в правом углу чернильницу. Сама чернильница, впрочем, сохранилась, просто все про нее забыли, а она валялась на самом дне нижнего ящика, забившись в дальний угол, и уже не надеялась на то, что кто-нибудь о ней вспомнит.

Нижний ящик старого письменного стола... Речь пойдет о нем. Это особое место. Особая зона. Это моя обитель. Сюда убирают всякий хлам. В других ящиках тоже складировается

разная бессмыслица, но это дребедень иного рода – та, что еще может когда-нибудь пригодиться. В нижний же ящик бросают абсолютно бесполезные вещицы, и попадают они сюда исключительно потому, что в этот момент нет возможности их выбросить. В нижний ящик наскоро, в беспорядке свален самый разнообразный хлам. Едва ли кто-нибудь сможет объяснить назначение хранящихся здесь предметов. И это барахло так и лежит тут долгое время, потому что всем лень разбираться в нем. Даже когда ящик полностью заполнится, сюда всё равно будут впихивать всякую дребедень. В конце концов, в день генеральной уборки, когда его почти невозможно будет открыть без помощи отвертки или другой подручной отмычки, кто-нибудь в сердцах вытряхнет весь скопившийся хлам в мусоропровод прямо из ящика, ни в чем не разбираясь и не сортируя его содержимое. Но этот момент пока не пришел. Сейчас ящик еще на стадии накопления.

Я лежу на спине, на горстке какой-то рухляди. В полной темноте. Ящик открывают не так уж часто, и, по существу, только в эти мгновения я могу мельком разглядеть кое-какие предметы, расположенные вне моей деревянной коробки. Разумеется, если ящик раскрывают не днем: ведь днем, даже если портьеры прикрыты, меня всё равно слепит солнечный свет – я слишком отвык от него, он чересчур ярок для моих слабых глаз. Вот вечером, при свете старой люстры, а еще лучше – торшера, я действительно могу кое-что разглядеть. Не так много, конечно, но мне приятно рассматривать даже потрескавшийся потолок или медно-желтый уголок пергамента морщинистой портьеры, не говоря уже о руках, ногах и в особенности – о выражении лица того, кто в этот момент бросает что-нибудь в мой ящик. Я не люблю эту обрюзглую сизую физиономию, но в этот момент я наслаждаюсь возможностью наблюдать, и меня несколько не интересуют сами предметы. Всё это длится совсем недолго – не более двух секунд, а то и меньше, но если бы вы знали, как я наслаждаюсь эти мгновениями. Я чувствую несказанную радость, триумфальный восторг, я блаженно улыбаюсь. Когда ящик открывают, он испускает пронзительный старческий скрип. Сложно представить более отвратительный звук. Но даже этот мерзкий шум не мешает моему невыразимому восторгу. В то же время, каждый раз, когда я слышу этот скрип открывающегося ящика, мне становится немножко страшно – я боюсь, что какая-нибудь ветошь накроет меня,

и я больше не смогу быть причастным к обзору комнаты, буду лишен даже этого последнего удовольствия. И я тогда забьюсь в угол, рядом со своей чернильницей. Она простит мою измену, я уверен. Как старуха прощает старику грешки его молодости. Но пока этого не происходит. Гроб еще не заколотили.

Изнуренный опустил голову, уронив взгляд на обветшалый остов своего тела, на разлагающиеся конечности. Из-под изорванной повязки колтунами свисают и путаются в длинной бороде желто-седые волосы, в грязные космы вплелись гнилые травинки, кусочки скорлупы, засохшие крылья бабочек, обрывки купюр, бледные лепестки, лоскуты лохмотьев, рыбацкие крючки, новогодний серпантин. Полчища вшей снуют по этому глухому лесу, кожа под волосами и щеки покрылись ранами от их укусов. Под синей, цвета протухшей курицы оболочкой едва ли осталась хоть капля крови, но насекомые пытаются отыскать новые родники, чтобы утолить нескончаемую жажду. Солома волос скрывает худое, болезненно перекошенное лицо старика. Оно покрыто сетью морщин, скукожено, как засохшее яблоко. Зрачки глаз похожи на пропавшие вишни, их скисший сок вытекает на мокрую вату белков, уже успевшую пропитаться этим кровавым нектаром. Своим цветом она напоминает засаленные шторы окон борделя, готовые в любую секунду гостеприимно распахнуться. Изнутри доносится скрип расстроенного фортепьяно с пожелтевшими липкими клавишами, вульгарный женский хохот, громкий чахоточный кашель. Сквозь пропитанные дымом занавески видны размытые силуэты, резкий запах духов заполнил воздух. Шторы на мгновение скрылись за захлопнувшимися ставнями век. Скрипящие затворы задвинулись, осыпав ржавчину с густых бровей, бахрому ресниц повисла истрепавшимися плетью. Ставни настолько дряхлы, что малейшего ветерка хватит, чтобы захлопнуть их, с каждым дуновением они все больше рискуют быть сорванными с петель. И тогда они обнажат звериный взгляд, пропитанный безнадежностью и недоверием. Ветер всколыхнул и выцветшие джунгли лохм, теперь острые уши торчат точь-в-точь как на шутовском колпаке, и цвет тот же – пепельно-седой. Изнутри стены пещер покрыты влажным мхом и сталактитами бурой серы. Ноздри втягивают холодный туман. Из приоткрытого рта капает коричневатая слюна, выпадают изъеденные червя-

ми осколки зубов, из уголков обветренных, превратившихся в отрепья губ, суетясь, выбегают муравьи, выпутывая из косм соринки, остатки пищи и возвращаясь назад в колодец рта и ямы ноздрей. Там муравьиные мухи откладывают яйца, таскают их по заплесневелым гротам, словно выбирая оптимальное место рождения для своих первенцев. Канава распространяет зловонный смрад. Дряблая кожа шеи, напоминающая смятый капюшон, свисает из-под жесткой, как наждачная бумага, бороды. Отчетливо различимы синяки, следы от веревок. Но вместо петли на шее болтается цепочка с паучком крестика, уснувшим на впалой груди, в голубоватой паутине вен. Или это лишь кровоподтек – стигмат нательного креста? Грязные лохмотья едва прикрывают сутулые плечи, побледневшие от холода. Путник смотрит на свою руку, вернее на то, что от нее осталось: на худые фаланги, рассеченные заиндевевшими прожилками, на потрескавшиеся, слоющиеся ногти, на содравшуюся до кости кожу, татуированную ссадинами и рубцами, на переплетения волокон и лилово-алые разводы, на гнилую мякоть ладони. Силится вообразить то, что могла бы представлять собой часть тела, ныне обратившаяся в кусок обугленного мяса. Кисть руки более всего напоминает давно выброшенную за ненадобностью ветхую перчатку. Тонкие пальцы хрупки, как поникшие ветви сухого дерева. Сгорбленный ствол едва удерживает этот веник засохших палок. На одной из веток уснула жирная, объевшаяся мышей сова, старая еле живая палка едва ли выдержит ее вес, вот-вот переломится. И тогда старик снова сморщится от боли. Запястье обвил потертый золотой браслет, инкрустированный битыми стеклами, о которые вечно режется рука и рвется платье. Но он никогда не снимает этого странного амулета. Выцветшее от дождя, подпоясанное ветхой веревкой, длинное одеяние покрыто темными пятнами от грязи, краски, жира и вина. Оно придает ссутуленной фигуре особую угрюмость. Редкие пуговицы болтаются на гнилых нитках. Сквозь дыру в плаще виден ржавый охотничий нож, выглядывающий из заднего кармана брюк, кожаный чехол порван. Грудь стянул тугой ремень, а спина согнулась под тяжестью плетеного короба, кишящего змеями. Они неприятно шипят и сквозь лохмотья кусают скитальца за спину, испещренную багровыми язвами. Словно языки огня скачут они в желтовато-сером тигле. Короб живет своей жизнью на сгорбленной спине утратившего человеческий облик старца. Он никогда не помышляет о том, чтобы избавиться от этой ноши. Он слишком привык к ней.

Вместо посоха путник опирается на лопату. На обломок древесины надета истертая шляпа с вороньим пером. Темно-зеленый головной убор смахивает на полусгнивший плод арбуза, вокруг кружат осы и мухи, так же, как и змеи, они то и дело норовят искушать старца. Заступ лопаты оставляет на земле тонкие порезы. Вылинявшие, почерневшие брюки превратились в ошметки. Дыра на правом колене обвязана серым платком. Тощие голени обвиты причудливым узорочьем царапин и синяков. Бледно-желтые босые ноги сливаются с охряной глиной, по которой ступают. Вот-вот они увязнут в этой мокрой земле.

Закат аляповатым золотым орнаментом сползает за горизонт – так стекает по забору небрежно разбрызганная пьяным маляром краска. Последние всплески солнца огненными блестками пенятся в небе и озаряют дорогу, отражаясь в подернувшихся тонким льдом лужах. Стемнеет через считанные секунды. Темно-серые крылья быстро заслоняют стремительно исчезающий купол. Только перья блестят в темноте. И вот уже тусклые звезды понуро склоняются над сухими ветвями, и сумерки проливаются на пожелтую траву. Стволы берез гниют в сырой земле. Изможденные взоры вскормленных мраком ржавой трухой осыпаются на скорченный силуэт сторбившегося старика – осеннего вечера. Он кашляет и вытирает лицо смятым влажным платком. Весь в лохмотьях, сидит на старой скамейке заброшенного парка, целует мокрые листья. Редкие прохожие суетливо пробегают мимо и не обращают на него внимания. Он что-то бормочет, слов не разобрать. Только видно, как костлявые скулы играют под окаменевшей кожей. Его взор болезнен и жалок, белки глаз затуманены дымом помешательства. Это только на первый взгляд он кажется равнодушным и глухим ко всему, на самом деле, старик чем-то напуган. Зрочки беспокойно бегают из стороны в сторону. В уголках угрюмых глаз – зерна слезинок, готовые скатиться в борозды морщин. Кажется, будто сами морщины прорезаны этими частыми слезами. В сумасшествии всегда присутствует невыразимая печаль. Но прохожие не замечают, что холодные глаза подернуты слезами, они вообще не знают, что такое слезы. К тому же не перестает идти дождь. Обмылок солнца тонет в пене облаков. Вечер трясет лохматой бородой, во все стороны разбрызгивая капли холодной слюны. Бурая земля

захлебывается дождем. Отравленные ручьи изрезали всё её слабое тело, темные кровавые потоки струятся по гноящимся сугорам. Сапоги увязли в хлюпающей грязи, окутались ежесекундно лопающимися коричневыми волдырями. Десны кровоточат, губы покрылись серебристым инеем пепла. Гроздь рябины алыми сполохами простреливают жидкие потемки, вздрагивают, как угли, разбуженные порывом ветра, еще не умерщвленные дождем. А ливень продолжает и продолжает вонзять в них свои иглы. В ответ кропкие голownи робко шипят, и это всё, на что они способны. Форма защиты. Формочка для песка, забытая ребенком в старом парке. Ребенок давно вырос, а она так и валяется в углу старой песочницы, словно крышечка крошечного гробика. Слабый дым поднимается едва заметными серыми кружевами. Сердце сжалось липкой медузой, склизким сгустком, хочется выплюнуть его. Кресты строительных кранов всверливаются в грудь бледного неба, изъеденного лиловыми кровоподтеками. На ладонях проступают стигматы проказы. Распускаются облезлыми розами. Из распотрошенного брюха вот-вот начнут выпадать хлопья первого снега. Христианские мертвецы возносят псалмы псам. Сколько же можно продолжать строительство этого склепа? Темнота выжидает равнодушное молчание. Такое же, как всегда. Мертвая маска. Маска из липкого теста. Осень – самое подходящее время года. Святой отец держит в руках бензопилу. Он сейчас приступит к расчленению тела. Из колоды выпала одна карта. Но на этот раз – не пиковая дама, а крестовый король. Крестоносец. Король крестов. Окрестности? Да, сплошные перекрестки. И раскаты грома. Крест на Крест. Города нагромождены друг на друга, как одиночные камеры, как могилы. Разве этого ты добивался? Ты заблудился в джунглях, утонул в россыпях атомов, разобщенных, но подчиненных единой системе. Ты тоже, пусть автономный, но атом. Ты пациент повседневности. Ты тоже окутан этим бледным сиянием. Смотришь, как они бродят меж тонких гнилых берез, задевая друг друга мокрыми рукавами, и, стараясь не замечать этого, спешат дальше. Изжившие себя призраки. Под капюшонами не видно глаз. Но ты знаешь, что на их месте. Бесцветные осколки. Осколки запутавшихся в сетях веры и разума, заключенных в невидимые клетки, изредка они пытаются приветствовать друг друга, селятся пожать руки, распяливают бледно-серые холодные пальцы. Перепонки между фалангами не позволяют им сделать это.

Со стороны происходящее выглядит невероятно неестественным и бессмысленным. Они карикатурно двигаются, словно больные. Их сознание заперто в рамках сценарного поведения. Проследи за ними – видишь, как они отворачиваются друг от друга и расходятся, кутаясь в клетчатые шарфы, нервно подергиваясь, стыдливо скрывая свою брезгливость. Так они общаются между собой, тебя же они встретят рычанием, так что лучше не приближайся. А то изрежешься о колючую проволоку. Когда они случайно замечают тебя, то сразу же мучительно переменяются в лице: их взгляды, отравленные достоинством, напоминают надменные, исполненные высокомерного презрения взоры с огромных портретов, покоящихся в тяжелых золотых рамах. Запеченные в золотой золе. Будто поганки прячутся во мху. Самоуверенный мир безмолвных статуй. С таким выражением обычно смотрят на колодников. Для них ты – горстка лохмотьев. Зрячие?! Они слепее слепых. Слепни. От ветра бросает в дрожь. Но зато он не дает заснуть. А спать хочется. Тонкая, почти прозрачная ткань падает со спинки кресла. Грациозно и изящно. Наверное, нужно поднять ее с пола. Или не стоит? Она ведь и так уже испачкалась. Здесь всё усыпано сажей. Черная накипь повсюду. Ею пропитались стены. Ее, наверное, уже никогда не удастся смыть. Я не видел своей святой уже четыре дня. Куда она могла пропасть? Я всматриваюсь в окружающие лица, силясь обнаружить знакомые очертания, но ни в одном из них я не узнаю той исчезнувшей. Почему мне хочется ее видеть? Но я боюсь думать об этом, мне кажется, даже мои мысли могут ее выдать. Я знаю, в ее венах бьются неистовые потоки жизни. Но она то появляется, то пропадает... Я до конца не уверен, существует ли этот призрак, похожий на завернутую в тряпицу восковую куколку, за пределами моего воображения... Дверь неприятно хлопнула. Сквозняки. Это больше похоже на жар, знобит от малейшего дуновения. Надо закутаться в старый плед. Или сунуть голову в раковину с холодной водой и осоловело держать ее там подольше, насколько хватит терпения. Иногда это дает определенные результаты. Иногда помогает. Но не всегда. Порой вода становится слишком соленой и начинает разъедать кожу – слезы побеждают. Ледяными росинками они скатываются по ржавым ножам осок. В падающих алмазных ледышках поблескивают лучи последнего солнца, прячутся в плач. Бесконечная ограда, увитая пожухлыми листьями. Дорога лежит вдоль нее. На скукоженных свер-

ках – слой сажи. Чудовищная скука. Старушки продают букетики бледных асфodelей. Купи мне парочку. Плесни мне в лицо надеждой, жуткой улыбкой Джоконды. Крик, взревающий внутри, должен бы разрушать скалы, но, лишь достигнув воли, почему-то сразу опадает с потрескавшихся губ едва слышным шепотом и растворяется в общем гуле, как случайный флажолет, заглушенный ревом оркестра, его смысл становится невозможно разобрать. Он прижат плечами со всех сторон. Как в яме. Только сверху не небо, а тоже чьи-то плечи. Там-то откуда? Отрубленные части человеческих тел облепили его. Он вмят в эту стену плоти, сварен в кружевное сплетение стальных роз на могильной ограде, просачивается сквозь потрескавшуюся мостовую и впитывается сухим грунтом. Он замер в обморочном сне. Застрял в самом центре бешено крутящегося шара, топорщащегося головами, руками и босыми ногами. Лишняя бремени индивидуальности, мертвая толпа дает взамен иллюзию социальной защиты. От кого защищаться? Он давно забыл, но, наверное, есть недоброжелатели. Должны быть. А как же иначе? Иначе его жизнь вообще не имеет смысла. Ведь он сам – лишь комок отрубленных конечностей. Он замурован в монолите толпы. Похоронен в окаменелой грязи, декорированной искусственными цветами. Никто не узнает о его существовании. Мертвый солдат. Отмямлил свое.

Ветер леденит кисти рук, забирается в рукава, холодным лезвием гладит по горлу. Глазницы залиты густым промерзшим желе, вязким, как клей. Все труднее поднимать ноги, чтоб сделать следующий шаг. Наросты грязи на сапогах тянут твое тело к земле. С каждым днем ты всё больше погружаешься в болоте. Дроковая петля на шее становится всё туже. В нос бьет резкий запах муравейника. Истерзанный, одинокий, испуганный, утративший внутренний стержень, ты остаешься один на один с иллюзорной реальностью, готовой проглотить тебя в любую секунду. Маленькая фигурка, пытающаяся приткнуться куда-нибудь, спрятаться, исчезнуть. Ты погружаешься в трясину, мельтешишь в безнадежных попытках отыскать точку опоры, с ужасом прогоняешь мысль, что ее никогда не существовало. Ее и не могло существовать, ведь ты до сих пор не родился. Старость ни при чем. Если ты все-таки появишься на свет, то это произойдет в том возрасте, когда принято умирать. Нет,

похоже, что ты сгниешь внутри плаценты. Да, ты умрешь, не успев родиться. Тебя похоронят в позе эмбриона. Даже твоя смерть не будет считаться смертью. Вот умора!

Неприятно, болезненно улыбаясь, он берет в руки подсвечник и наклоняет его так, чтобы жидкий воск потек на направленный в печатную машинку лист. Зеленоватые потоки кривыми вертикальными столбцами перечеркивают нанесенный на бумагу текст. Теперь остались разборчивы только отдельные фразы. Затем он подносит огонек к уголку листа, чтобы поджечь. Бумага загорается не сразу, но он терпеливо ждет, пока пламя станет достаточно независимым, чтобы существовать без поддержки свечи. И вот уже огонь занимается, и верхняя часть листа всюду начинает полыхать, осыпаясь обугленными клочками. А он всё продолжает бить по клавишам, чтобы успеть напечатать как можно больше, пока лист не сгорел до конца. Из-под железных молоточков во все стороны разлетаются рыже-красные искры.

Мутнеет. Воздух мутнеет. Концентрируется в желтоватые сгустки. Глаза все так же болят. Я как можно сильнее сжимаю их, надеясь прогнать боль. Но это не помогает. На небе догорает алый обруч солнца. Колечко заката. Сумерки жадно обглаживают последние остатки солнечных бликов с изогнутого хребта горизонта. Раскусывают кусочки солнца. Как лимонные дольки. Сгорбленный позночник вот-вот переломится. С секунды на секунду. Приготовьтесь услышать оглушительный хруст. Звук падающего дерева. Осталось лишь выкорчевать корни. И я снова провалюсь в темноту – липкую и вязкую. Точь-в-точь как тесто. Тесто, измазанное сажей. Когда я закатываю глаза, то на месте зрачков остаются кровавые ободки. Но самих зрачков внутри уже нет. Трясина расступается. Болезнь побеждает. Белки глаз холодеют, замораживаются. Я не могу противостоять этому процессу, а тем более остановить его. Иногда я даже мечтаю его ускорить. Любыми способами. Любыми средствами. Ресницы опадают легкими снежинками и тихонько хрустят под ногами. Совсем тихо – если не прислушиваться, то, пожалуй, ничего и не услышишь. Но я слышу, ведь я внимателен. Если бы у насекомых были хребты, то, наверное, они бы переламывались именно с таким звуком.

Именно с таким. Звоночки-позвоночники. Длинные патлы волос покрылись инеем и позвякивают на ветру. Тело деревенеет. Я больше не ощущаю прикосновений ветра. Кожа липким тестом прилипла к черепу, она мешает дышать, хочется освободиться от нее, смять и выбросить. Я рву ее зубами до крови, царапаю ногтями, но не могу отскрести кожу до конца. Мой крест – из теста. Я сам его выпек и теперь сам хочу бросить его обратно в пекло. Но эта битва едва ли имеет смысл. Отскрести кресты с надгробий почти невозможно. Они слишком сильно ввелись в гранит. Нужен специальный скребок. Вроде тех, что предназначены для удаления ледяной накипи со стекол. Нужен солдат с саперной лопаткой. Отскрести кресты! Немедленно! Не обсуждается! Неужели только приказ сможет меня спасти? Нет, нужно прогонять эти мысли, я же всегда знал, что они – шаги по направлению к стеклянному гробу. Не нужно поддаваться на эти уловки. Или я уже поддался? Да, я давно уже внутри прозрачного склепа. Смешно, что иногда я об этом забываю. Тогда можно ли что-нибудь изменить? Надо ли что-нибудь менять? А что наносить поверх стертых крестов? Сможет ли этот палимпсест стать спасением? Зачем я спрашиваю? Ведь я не верю в спасение.

Правый глаз еще держится, а вот левый уже свернулся и превратился в небольшую личинку. Она тихонько скребется внутри глазницы. Пробирается к мозгу. К мозгу. Ну конечно. Это же ее любимое лакомство. Личинка прожорлива, как всякое живое существо. Ей необходима пища. Сегодня этой пищей стал мой левый глаз. Последнее время он совсем ослаб, и теперь он не в силах оказать личинке сопротивление. Он и раньше бы не справился, но уж сейчас – и подавно. Белок глаза – это вам не гранит. Он пухл, мягок и рыхл. Его легко прогрызать, откусывать по кусочку. Ну что ж, выгрызай мне глаза, новоиспеченный приятель. Личинка – это маленький обрывок теста, который мне удалось оторвать от черепа. Но в последний момент ему удалось вернуться, и он запрыгнул мне в глаз, словно стеклянный осколок-заноза. И теперь он царапает мою глазницу изнутри. Может быть, потрясти головой, и тогда личинка выпадет? Думаете, поможет? Да я вроде пытался. Ничего из этого не вышло. Ровным счетом ничего. Наоборот – затряс ее еще глубже. Наружу выпал только огрызок глаза. Добился противоположного результата. Ложного результата. Ложь. Всё это ложь. Пожелтелая ложь. Ложь желтого цвета. Цвета вы-

плюнутого приказа. Я всё выдумываю, чтобы было легче переносить оледенение глаз. Но я прощаю себе эти выдумки. Близорукость развивает фантазию. А воображение всегда приближало меня к подлинному. Или это была иллюзия? Злая шутка? Эта болезнь (не фантазия, разумеется, а близорукость. – *Н.Л.*) всегда меня мучила, но разве ж мог я представить, что, в конце концов, всё обернется вот так? Я бы засмеял любого за малейший намек на подобную развязку. А теперь этот намек стал реальностью. Скомканной реальностью. А сможет ли художник рисовать в темноте? Тогда спасение через искусство всё же состоится? Положим, это ложь. Ну и что с того? Это нисколько не приблизит нас к решению проблемы. К тому же ложь – вовсе не антоним реальности. Ее извечный антагонист – истина, а когда существующее положение вещей считалось с истиной? Холодная трясина противно хлопает под калошами. Грязь заползает под лохмотья подошв. Прилипает к ступням ног, втискивается между пальцами. Только ее недоставало. Мне кожи-то было по горло достаточно, а теперь еще и грязь. Она быстро заледенеет, и уж эту корку пробить будет едва ли возможно. Но не к этому ли я стремился всю жизнь? К мерзлой корке. К замороженной маске. О такой карьере, наверное, не мечтал даже самый ангажированный актер! Это престижнее, чем посмертная гримаса из гипса и даже почетнее, чем звезды на граните мостовой! Кстати, звезды с гранита отскребаются с таким же трудом, как и кресты. Замечали? У одних на погонах звезды, а у других кресты. Думаете, они враждуют? Черта с два! Они по одну сторону баррикад. Они всегда были по одну сторону, в одной системе координат. Даже в те дни, когда прикидывались врагами, даже в день распятия. Всё это – один и тот же бесконечный спектакль. Кстати к полумесяцам на погонах это тоже относится. Это знаки отличий, но только в других войсках нашей единоначальной армии. Слушай мою команду! Шагом марш! Цельсь! Пли! Фас! И удивительно – они ведь немедленно понесутся обглаживать трухлявую кость моего позвоночника. Неужели во мне до сих пор теплится жизнь? Хотя эти жадные крысы могут позариться и на мертвечину. Думаете, мне жалко себя? Не смешите. Может ли сугроб сожалеть о том, что он леденеет? Конечно же, нет. Холод для него является знаком хорошей погоды, залогом чистоты и одиночества. Эта ледяная короста гарантирует защиту, она куда привычнее, чем солнечные лучи. Вот их-то он действительно боится. От

них он на самом деле мечтает избавиться. Нет, это не жалость. Мне просто интересно, неужели там, на моем хребте, еще осталось мясо после стольких часов усердной трапезы? Наверное, осталось, раз они так спешат. Ну, допустим так, но неужели оно может быть вкусным, это засохшее жесткое месо? Оно должно быть противней прошлогодней воблы. Впрочем, похоже, что их, эти размышления не одолевают. Со скалящихся зубов капает липкая слюна. Разъяренная пьяная толпа несется прямо на тебя – из зрительного зала на сцену. Тебе совсем недолго осталось. Они уже вгрызаются в твой труп.

Зрение нарушено, я почти ничего не вижу, только какие-то блики. Или даже они уже не видны? В какой-то момент я перестал доверять себе. Я стал подозревать даже себя самого и решил перестать делиться с собой собственными мыслями. Решил прекратить думать. Я еще смутно помню то, что называл *игрой*. Вернее припоминаю, что называл что-то *игрой*, но никак не могу понять, что именно. Но в любом случае, теперь игры уже нет. Ее больше не существует. Даже в моем воображении. Чем же я отличаюсь от манекена? Нет, нет, всё это – следствие переутомления. Всё объясняется исключительно усталостью глаз, ослаблением внимания, недолгим приступом слабости. Это обязательно пройдет. Просто нужно успокоиться. Попытаться глубоко вздохнуть. Только аккуратно – так, чтобы не потревожить сердце. Я не выношу, когда занозы оживают.

Воздух еще поступает в легкие. Значит, какие-то детали пока функционируют. Выходит, еще не всё проржавело, человек. Стало быть, так. Стало быть, так... Трясина – это вовсе не смерть. Это продолжение. Пожалуй, что так. Блохи прыгают по лицу. По багату свисающего подбородка. Запрыгивают в рот, и я, как пес, пытаюсь, клацая зубами, убить их. Они не боятся холода. Они не боятся зубов. Они ничего не боятся. Трудно сказать, могут ли они вообще ощущать страх. С другой стороны, они же судорожно отлетают, когда я клацаю зубами. Что это? Рефлекс? Или все-таки страх? Впрочем, и я не боюсь холода. Я просто жду его. Я почти ослеп, скоро у меня не останется ничего, кроме призрака неродившегося младенца в левом глазу. Я поспел к слепоте. Полумесяц кусочком льда тает в смугло-сером небе. Никакой другой стороны не существует. Я следующий. Мутнеет воздух.

Господи Боже Милостивый! Сжался надо мной! Бог мой! Прости, что смею обращаться к Тебе, Господи! Услышь слова мои! Я лежу в темной комнате с обледенелыми стенами. Здесь почти нет света, здесь холодно. Я плачу, все лицо мое в слезах. Я в беде, и никто не приходит на помощь мне. Я лежу на изъеденной червями кровати, по простыням бегают мокрые насекомые. Боже, услышь меня! Внемли глазу моему, я к Тебе молюсь! Мне так страшно... Рядом со мной – мой возлюбленный. Он усыпан лепестками белых роз. Я боюсь прикоснуться к нему, от него веет холодом. Он мертв, Боже! Они положили его рядом со мной. А сами склоняются сверху, они склонились надо мной, Господи. Они смотрят на меня, прикасаются ко мне своими гнилыми руками, оставляя холодную слизь на моих щеках. Они мертвы, Господи! Они окружили меня. Они заточили меня в эту комнату без света. С них капает грязная кровь. Из их ртов льется слюна. Они ломают мне пальцы. Они запрещают мне кричать о помощи. Они выбили мои зубы и вырвали мой язык. Я боюсь их, Бог мой! Но я не сдалась, я верю в Тебя, Боже! Во мне нет отчаяния! Ты со мной, Ты не бросишь меня! Помоги мне, сжался надо мной! Прогони их отсюда, я не могу больше видеть их тени. Прогони же их, Боже Всемогущий. Силы покидают меня. Я умираю от жажды. Прогони их, или Ты тоже с ними, Боже?

Мужской голос (*размеренный, с паузами, каждая фраза перемежается танцами под вспышками стробоскопа*): Тебя будут казнить в Великий День. Весь город придет посмотреть. У меня уже закончились контрамарки на твою казнь. Многие будут висеть на изгороди, лишь бы увидеть хоть что-нибудь. Но почему ты так дрожишь, тебе холодно?

Женский голос: Ночью...

Идиот-мужчина: Что?

Женский голос: Ночью ко мне приходил ангел. Прекрасная, как богиня, девушка с серебряными крыльями. Она спустилась с неба. Я видела, как она вошла через окно. Она улыбалась мне (*смех идиота*). Я лежала на сырой земле, рядом с ямой. На ужасно холодной сырой земле. Она достала лопату и ударила заступом мне в лицо (*акцент по тарелке*). Богиня стала сталкивать меня в могилу.

*Дискотека. Танцующие прыгают и машут шляпами.
Мелькающий свет красной лампы.*

Идиот-мужчина: А потом?

Идиот-женщина: Потом?

Идиот-мужчина: Да-да, что было потом?

Идиот-женщина: Потом я проснулась и прошлась по комнате. Мне страшно.

Идиот-мужчина: Это был только сон.

Идиот-женщина: Да, но ты же видишь, как рассечен мой лоб, мне больно... А почему там, снаружи, так темно?

Идиот-мужчина: Ну когда же ты поймешь, что мы ослепили тебя? Там никогда не будет света.

*Количество танцующих растет.
Танцы становятся еще более энергичными.*

Ты нечист, всё вокруг тебя нечисто, ты источаешь нечистоту, нечистота твоя начинает течь на чистые вещи, и чистые вещи становятся нечистыми, твои нечистоты окружают тебя, ибо сам ты нечист, речи твои суть нечистые истечения, даже мы рискуем стать нечистыми, разговаривая с тобой, так велики нечистоты твои. Не прикасайся к нам! Не подходи! Мы все, все мы отрекаемся от тебя, ибо ты нечист!

Воробьи на куполах. Разве что они не причастны к причастию...

Малые мои птицы. Для меня нет никого вас дороже.

Выплюнутый обол повис на леске вязкой слюны. Гипнотическим маятником раскачивается из стороны в сторону. Обманчивым маяком мерцает при молочном свете луны. Длинную тень влачит, взор привлекая. Рука протягивает смятый билет с необорванным контролем.

Ну же, всоси спасение...

НЕТ! НЕТ! ПРОЧЬ!

Прочерк...

Что за шум? Подойди к окну, отдерни пыльные портьеры. Видишь, там внизу. Ну конечно, видишь. Вакханалия достигла своего апогея. Альпинист покорил ледяную вершину. Карнавал в самом разгаре. Адское скопище. Толпа заполонила площади и мосты. Она везде. Она беснуется под окнами. Бесконечная и беспощадная. Она стекает по стенам, как грязная слякоть. Она висит на изгородях. Ее запах растворяется в воздухе. Нескончаемая похоронная процессия. Цветы, гирлянды, ленты, фонарики, – всё блестит и сверкает пламенем инквизиции. Стоит лишь приоткрыть окно, протянуть руку, и ты прикоснешься к этому зловонному маскараду, ты примешь в нем участие. Ну что же ты медлишь? Весь город уже прильнул к окнам, чтобы поглазеть на торжественное шествие. Да нет, оказывается, весь город уже там, внизу. Все ждут только тебя.

Шевелящиеся, извивающиеся дороги ползут по мощеным улицам по направлению к горизонту, к обрыву. Хохот, ругательства и крики веселящихся людей. Они скачут во весь отпор на скрипящих повозках, давят друг друга, что есть мочи, хлещут кнутом изнуренных лошадей, из-под колес летит гравий, щедрые россыпи бьются о стены. На мостовой яблоку негде упасть – бесформенные туши сливаются в единую массу; спят, чавкают, дерутся, совокупаются; даже канавы и ямы забиты телами. Люди лепятся друг к другу как мухи. Фонтаны слюны брызжут во все стороны. Фанфары, рукоплескания, полощущиеся в праздничном оживлении знамена. А вот и карета короля, он механически улыбается и машет присутствующим безжизненной, ватной рукой. Пурпурная порфира кесаря гигантской орифламмой развеивается на ветру, корона блестит, политая лунным светом. С пресного лица не сходит липкая улыбка удовлетворения. Повсюду людской смрад, он ощущается даже через стекло. Движение не останавливается ни на миг.

Колокольный звон бешеной канонадой повис над головой. Осужденный продвигается вперед между двумя шеренгами корчащих рожи зевак. Они кидаются камнями, бьют в тимпаны и кимвалы. В глумящейся толпе нет сострадания. Только презрение и насмешки. Какие же еще чувства может вызывать этот бледный костлявый призрак, состарившийся от длительного заключения и изнурительных пыток, кроме как насмешку? Толпе хочется таскать его за волосы, оскорблять и топтать ногами, рвать на куски.

Впрочем, *candidatus crucis** тоже не испытывает по отношению к ним ничего, кроме презрения. Но его прогоркло-желчная усмешка едва ли заметна для посторонних взглядов, она слишком глубоко спряталась в лохмотьях грязной бороды. Он облачен в желтое одеяние с черным косым крестом, а на его голове – издевательский картонный колпак, украшенный погребальным орнаментом. В его руку вложили свечу из зеленого воска. Всё это – знаки бесчестия.

Вокруг него пляшут арлекины, они привлекают всеобщее внимание, но даже ребенку понятно, что их роль второстепенна. Виновник сегодняшнего торжества – костлявый старик в позорном санбенито. Именно в него метят камнями зеваки. Именно его до поры оберегают от увечий монахи. Но одновременно они стягивают дроковую цепь на его шею. Впереди шествия – кардинал с огромным крестом из окаменевшего теста. Он величественно улыбается, прокладывая путь для всей процессии. Он накрашен губной помадой и загримирован как клоун. Он одет в черную робу. Толпа расступается перед ним.

Распятие обращено в противоположную от проклятого старика сторону – ибо спасения для осужденного уже не существует. Его бессмертная душа принадлежит пламени ада. Он всегда так любил пожары. *Esse homo*** . Кортёж замыкают правительственные лица и дворяне. Его Величество появится с минуты на минуту. Все ждут оглашения приговора. Глаза светятся праздником. Цепь уже висит на столбе, а первый факел в руке палача зажжен, его тусклое пламя освещает сцену эшафота. Через несколько мгновений акт веры можно будет считать свершившимся. Зеленый огарок странным иероглифом тлеет в руках прокаженного. Мораль начинается там, где кончается надежда. *Plaudite, cives****!

Я лежу в душевной комнате, мучаясь от боли в костях. Невыносимая ломка одолевает меня день за днем. Я полностью в ее власти. И не у кого просить пощады. Окружающим неизвестны причины боли. Они всё списывают на возраст. Я им не верю, никогда им не верил. Им давно наплевать на меня.

* Соискатель креста (лат.).

** Се человек (лат.).

*** Рукоплещите, граждане (лат.).!

Они с нетерпением ждут того момента, когда представится удобный повод от меня избавиться. Ждут подходящей минуты – им нужно, чтобы все прошло быстро и не напрягло нервов. Думать – этого они не любят. Так что их инертность – единственное, что до поры сохраняет мою жизнь. Тупые недоноски! Приходится по сто раз повторять одно и то же, чтобы они поняли то, что ты хочешь сказать! И всё равно до них не доходит даже одной пятой изреченного! Помоему, они умудряются пропустить мимо ушей всё, что я пытаюсь вдолбить в их чугунные головы! Многие думают, что перед смертью старики мечтают о том, чтобы было с кем поговорить, что больше всего они боятся одиночества. Какая тупость! Хер там! Под конец жизни тебе не хочется никого видеть и не хочется ни с кем общаться. Тебе до невозможности надоедают все окружающие. Все без исключения. И знакомые и незнакомые. Больше нет сил терпеть их. Тебе не хочется ничего, но особенно – разговаривать. Если до этого какие-то связи и оставались, то теперь хочется окончательно разорвать их. Время тянется чрезвычайно вяло и лениво, нехотя, будто через силу. И любое общение лишь замедляет этот и без того невыносимо нудный темп. Но каждая секунда твоего существования по-прежнему (а то и в большей степени, чем прежде) находится во власти другого, и ты не в силах ничего изменить.

Кто-то протопил комнату настолько сильно, что теперь в ней почти невозможно дышать. Мне хочется пить, но вода в стакане так нагрелась, что стала удивительно гадкой на вкус. Во рту всё иссохло, я не могу даже пошевелить языком, он прилип к коросте нёба. Но всё равно не хочу пить эту противную теплую жидкость из липкого стакана. От одной мысли о прикосновении к нему меня начинает тошнить. Жуткая мерзость! Помой – и те приятнее на вкус! Еще эта вода напоминает мне зеленовато-голубую жидкость, используемую обычно не то для полоскания рта, не то для мытья раковин, точно не помню. Ну да ладно, черт с ней! Я пытаюсь отвлекать себя размышлениями. Рассматриваю смугло-серые облезлые обои, рваные занавески, столик, свою обшарпанную кровать. Какие идеи могут прийти на ум в этой затхлой каморке? Мои мозги покрылись плотным слоем накипи. Мысли давно иссякли, какие там размышления – иногда мне кажется, что они должны появиться, но нет, слабость окончательно одолела меня, лежать, изнывая от боли, – вот все, что выпало на мою участь.

Боль не дает сосредоточиться ни на чем, отбивает любые желания, всякие интересы. Таблетки совсем перестали помогать. Голова кружится, хотя я почти не отрываю ее от подушки. Лохмотья, в которые я одет, до смешного походят на застиранную больничную пижаму. Они словно завершают безупречность моего исключительно жалкого положения.

С прошлой недели меня стали выносить на крыльцо. Меня сажают в старое кресло, я опираюсь на трость и смотрю во двор. Свежий воздух мне нравится. Наверное, это самовнушение, но боль на время проходит, я чувствую, как она пропадает. Я ощущаю воспоминание о присутствии. Я вижу людей, стоящих на льдине, расколовшейся на тысячи кусков. А они не замечают того, что каждый стоит на отдельном обломке, и протягивают друг другу руки через расплывающиеся трещины, общаются, улыбаются. А между тем, обломки всё быстрее удаляются друг от друга. Теперь уже многие заметили, но пока не подают вида, продолжают улыбаться. Они пытаются убедить себя в том, что ничего особенного не происходит. Они принимают за истину даже не предметы, а их размытые тени. Странно, но сейчас во мне нет жалости к ним. Мне безразличны эти недоумки. Во мне уже давно нет сострадания. Боль уничтожила все остальные чувства. Лишь здесь на крыльце она ненадолго затихает. Правда, очень скоро я начинаю замерзать. Про меня, как правило, забывают, и озноб пробирает насквозь. Я причиняю им неудобство, мешаю как ненужный, сваленный на проходе хлам, который лень выбросить. Я мерзну. От холода начинают стучать зубы. Я ненавижу этот звякающий звук – омерзительный и жуткий. Он напоминает мне звон бокалов – колокольный звон из детства. С таким же гулким и пустым звуком льдины отталкиваются друг от друга. Когда я окончательно околеваю, то начинаю постукивать тростью по гнилым доскам крыльца. Конечно, собственная жизнь давно перестала представлять для меня какую-либо ценность, но без боя я не сдаюсь! Нет уж! Не дождетесь, что я вот так вот спокойненько издохну! Как бы не так! Я буду, что есть сил, колотить по этому грязному полу! Нарушать ваш покой! Долбить по ржавым кастрюлям ваших голов! Да-да, именно так! Только злоба и придает мне сил... И я продолжаю стучать набалдашником своей трости по облезлой коричневой краске старого крыльца... И тогда они обычно вспоминают о моем существовании, и нелепая прогулка завершается.

Меня возвращают в постель, в знакомые декорации. Окружающих предметов не существует. Их никогда не существовало. Они всегда были мертвы. Я не ошибался. Действительность омертвела. Но никто не стал смеяться вместе со мной над этим нелепым фактом. Впрочем, я и сам не смеялся. Эту кровавую икоту язык не поворачивается назвать смехом. Из холода меня возвращают в духоту. Я тоже становлюсь мебелью. Подушки распространяют аромат протухшего творога и гнилого чеснока – сладковатый запах старости. Всё же я на пороге смерти, этого нельзя отрицать. Это состояние на грани должно быть знакомо тому, кто пьянеет, кто ходит с ума. Засунуть голову под одеяло. Сделать духоту еще более душной. Сделать невыносимость еще более невыносимой. Сделать боль еще больнее. Вчера я нашел под кроватью ржавую бритву. Мне нравится из последних сил сжимать ее в кулаке, холодная кровь капает на пол, а потом засыхает и осыпается жесткой пылью. Я люблю испытывать ощущение боли – не той ломки в костях, к которой я привык, а новой, живой. Я даже тихонько смеюсь от блаженства. Иногда я, цепляясь скрюченными пальцами за ржавое изголовье, пытаюсь сам подняться с кровати. Редко когда это удается, но после двух-трех шагов я валюсь обратно в кровать от старой жуткой, ломящей кости боли. От этих попыток встать всегда становится только хуже. И я опять беру в руки бритву. Я уже слишком стар, чтобы бороться за присутствие.

Мертвыми безнадежными глазами уставился в пол, под ноги. Тупо уставился в пол. Еще один день. Такой же, как несколько предыдущих. Не лучше, не хуже. Бессмысленный дубль. Уставился в пол. Ничего не обнаруживаю. Ни на чем не сосредотачиваюсь. Мой взгляд – это бессмысленный дубль. Нет, одно отличие все-таки есть. Сегодняшнее самочувствие несколько хуже вчерашнего. Вчерашнее чуть-чуть хуже позавчерашнего. Завтрашнее будет немного хуже сегодняшнего. Это вполне понятно. Вполне понятно. Тупо уставился в пол. В пол – не понятно. Почему не в потолок? Это не намного сложнее. Не намного сложнее. Собраться с силами. Всё, что нужно, – это собраться с силами. Сжать кулаки. Нужно только сжать кулаки. Нет кистей. Отсутствуют кисти рук. Не просто не функционируют, а именно отсутствуют. Ампутированы. Потому тупо смотрю в пол. В пол, не понят, но. Тупо у ста, влился в пол. Уставы все лились. А ус-

та всё вились. Уста извивались. Бились в улыбочатых судорогах. Змеились дымчатыми дорогами. И истлели. Истлели уста.

Увядая... Стекло тускнеет, изображение размывается. К тому же скотч разошёлся – то и дело отклеивается. Теперь трещин на зеркале уже не утаишь. Они заметны даже моим безоружным глазам. Что уж говорить о тех зрителях, которые приобрели в гардеробе бинокли. К тому же зеркало затемнилось и почти перестало отражать. Все плывет перед глазами. Все становится мутным. Отсыревшая киноплёнка. Изображение размывается, теряет реальность и гибнет, то же самое происходит и со звуковой дорожкой. Некоторое время экран еще продолжает мерцать, а затем следуют темнота и вакуумная тишина. Темнота, в которой не разглядеть протянутой руки (даже если бы она и существовала в действительности – *Н.И.*). Там, в зрительном зале, вместо протянутых рук – заостренные штыки. Сдаться в плен – вот мой вариант развязки. «Сдаться в плен»... Какие смешные формулировки... Можно подумать, что кто-нибудь из нас хоть минуту провел на свободе... Ладно, хватит твердить банальности... *Haec haec tenus**. Пора бы и заткнуться. У машины закончилось топливо. Средств на заправку нового нет, да новое и не совместимо с моей устаревшей системой энергоснабжения. От болезненных спазмов в груди прерывается дыхание. Спазмы комкают время. Как грязный носовой платок. Как ненужную ветошь. А ветер кидает ее из стороны в сторону – то в прошлое, то в будущее. Как придется. Такова цена времени. Но все же мое умирание оказалось чрезмерно долгим и утомительным, растянулось на невыносимые десятилетия.

Иногда кажется, что судороги заканчиваются, и на секунду всё успокаивается. Кажется, даже война перестает существовать в эти застывшие мгновения. Но едва ты пытаешься сделать глубокий вдох, как боль медленно оживает, постепенно набирая темп, словно локомотив, начинающий движение. И опять ледяным током пульсирующие судороги проходят сквозь размякшее сердце. Наверное, так чувствует себя лошадь, которую хлещут плетью. Причем не постоянно, а с промежутками, которые невозможно просчитать наперед. А в этих паузах ее подкармливают мерцающим сахаром. И лошадь с удовольствием ест белые

* Довольно об этом (лат.).

кубики. Ради них она стерпит любые удары. Говорят, они научились прикармливать даже волков. И даже волки становятся послушны. Вот она – магия дрессировки. Войне всё под силу, она воспитает солдат из кого угодно. Марширующих манекенов. Модели подороже гарцуют вдоль чеканящих шаг толп на деревянных конях. Вот оно, последнее слово науки и техники – этим скакунам даже сахар не понадобится. Они совершенны. Искусственные цветы не вянут. *Consummatum est!* Они упразднили даже плеть!

Нужно всё забыть. Всё, без каких бы то ни было исключений. Безо всяких поблажек. И тогда полегчает. Может быть. Я заикаюсь, коверкаю звуки, но пока еще могу говорить, а самое главное, могу записывать свои мысли на бумагу, пусть и кривым, неразборчивым ни для кого (порой даже для меня самого) почерком. Эта фиксация придает видимость уверенности. Уверенности в чем? В верности избранного *modus vivendi*^{**}?. Во мне все-таки слишком много злобы. Последнее время я всё сильнее раздражаюсь по мелочам, становлюсь всё более нервным. Вместо крови в моих венах циркулирует желчный гной. Во всяком случае, очень похоже на то. Гадкий старикашка. Недолго тебе осталось. Пульс, то до невозможности замедляется, то с *largo*^{***} опять бросается в *presto*^{****}, клопочет как курица, которую схватили, чтобы отрубить голову. Разум помрачается. Глаза режет даже от самого тусклого света, начинаешь понимать, как живут вампиры. И еще их младшие сестры – летучие мыши (я слышал, у бедняг до ужаса обостренный слух, вот и мне тоже не дает покоя звенящий шум в ушах и непрекращающееся давление в голове). Забыть. Нужно всё забыть. Всё, безо всяких поблажек. Только тогда полегчает. Тогда полегчает. Вполне очевидно, что у меня дикий жар, но при этом я умираю от холода, я дрожу так, что стучат вставные челюсти. Конечности немеют, сначала их пульсирующими искрами прожигают колики, потом начинается жуткий зуд, от которого трещат кости (да так громко, что приходится затыкать уши, но и это не помогает), а потом ты в забытьи падаешь на землю вниз лицом и больше не шевелишься – вот, что обычно происходит в таких случаях. Нужно всё забыть. Только тогда полегчает.

* Свершилось (лат.)!

** Способа существования (лат.).

*** Широко, медленно (ит.).

**** Стремительно, быстро (ит.).

Остановившись, ребенок-старик огляделся по сторонам. В темноте почти ничего не было видно. Он присел, свесив ноги в канаву, закинул назад голову и на минуту застыл в этой нелепой, непривычной позе. Еле ощутимый ветер поглаживал его покрытые серебристыми дождевыми каплями лоб и щеки. Но вдруг внезапный сильный порыв сорвал с его головы черную шляпу. Она упала на землю и перекаати-полем стремительно понеслась к горизонту. Старая фетровая шляпа была настолько помятой, что уже утратила свою форму, к тому же за столько лет она вся испачкалась и сплошь покрылась пятнами от муки, губной помады и краски. Ему не было ее жалко, но все-таки он проводил ее своим бессмысленным взглядом. Через мгновение он спрыгнул в канаву и зарылся во влажную, уже начавшую подгнивать листву. Там, в канаве, он был почти недосыгаем. Его высохшие, холодные вежды сомкнулись, спрятав пепел зрачков.

Размытое изображение рассыпается. Эта пыль застит глаза, забивается под холодные веки. Время распадается на бессвязные мгновения. Зеркало раскалывается на тысячи мелких обломков и хрустит под ногами. Собрать их заново, воссоздать разорванный автопортрет едва ли будет возможно. Словно ты смотрел на отражение в луже, и неожиданно хлынул ливень, который не собирается прекращаться. И ты сам как будто немного рад тому, что этот *puzzle* невосстановим. Кинофильм остался недоснятым. Он рассыпался на отдельные бессвязные кадры. С механической очередностью нелепые слайды сменяют друг друга в своем падении (как обрывки бумаги), всё чаще перемежаясь черными, пустыми вкраплениями темноты. Осмысленных, неразмытых кадров становится всё меньше и меньше. Только мерцания. Это догорает киноплёнка. Изображение рассыпается.

Он лежит неподвижно, закрыв глаза. Во рту – снег. Ноздри забились землей. Но он не мертв. Его нельзя считать мертвым. Значит, живой? Все-таки живой? Нет, этого я тоже не говорил.

**внимание рокот для солонозраких № 092 специаль-
ный внеплановый радиэфир перехваченный у врага
профессиональными шпионами психоаналитиками па-
негирик вечнозеленой улице цвейговский предсмер-
тный бред в окружении шепчущихся газетных зигот**

присвоенный номер I942 ни в коем случае не перепутайте шифр это чревато многими неприятностями бесконечными неприятностями ужасными неприятностями чудовищными неприятностями ребенок пес и старик по-прежнему едут в одном вагоне йод укол войлок мыльные пузыри пасхальные куличи все это должно быть готово ко дню рождения

уйоу!!! уйоу!!!

боязнь брата как нелепо это был лишь один из первых актов теперь я все-таки осознал что с тех пор мы уже продвинулись гораздо дальше пес оцепенел закован давно пора никогда не знаешь что еще он выкинет в следующую секунду вцепится прицелится а он лишь обесцветился глупцы вы постоянно страшаетесь совсем не того что заслуживает страха ржавый мокрый ожог распускается облезлой розой больные чумой всегда мучаются жаждой гидроцеллофановые завывания ободранных псов что дальше что дальше снова на рожон овал ловец жало дым в мыльном пузыре я задыхаюсь внутри взбесившиеся суккубы пляшут вокруг аквариума старики стоят в очереди за смертью ее отсыплют на вес желтый глаз на треугольном экране растекается белый и розовый шум смешиваются микшируются во франко-россонский флаг мимикрирующий в радугу на небе яд запечатан в голубой конверт порошок запечатлен паук пробежал по твоему лицу медно-бурое пятно гигантского желтка стремительно сползает за край света готические соборы взрываются тысячами вороньих крыльев разлетаются в разные стороны а потом снова собираются в улей и черной тучей набрасываются на уставшего изможденного пастуха бедуина заблудившегося в пустыне в поисках стада фалды развеваются на ветру кобели ищут спасительную шляпку помятая фетровая шляпа забрызгана краской и залепана мукой лампочка разбита сцена усыпана окровавленным конфетти семена одуванчиков развеиваются по улице их топчут кирзовые сапоги есть и те что пытаются набить этой пыльной смесью свои рты но зрительный зал как всегда пуст хотя аплодисменты не смолкают тусклый луч проецирует на выцветшую простыню нашу одномерную жизнь вытати жало указки из доски сволочи гниды ненавижу карлики в колбах обнимающие прозрачные сейфы для хранения накопленных банкнот изготовлено

в Швейцарии качество стекла гарантировано ты думал как в сказке лягушка сбросит шкурку и превратится в принцессу чуть-чуть ошибся самую малость яйца в ячейках клерикальные карлики клерки это другая сказка про смерть в яйце помнишь?

бляди! ненавижу! плачет. рыдания не останавливаются ни на миг. а что еще может делать младенец? писатель лжет и в книгах и в жизни. могильная ограда увита искусственными цветами. все испачкано сажеей и мазутом. весеннее кладбище. слишком стар, чтобы начинать все сначала. слишком юн, чтобы остановиться. слишком? я все-таки произнес это? больше нет ни одной мысли. ни одной. были ли они раньше? трудно сказать. теперь ни в чем нельзя быть уверенным. теперь я ни в чем не могу быть уверен. все, дальше буквы рассыпаются.

фцждало фыжалдо фжлда офждла офждыдождф пшцсукп
= -3ш54н н340ккг0349кцу а84щ цшвзщйцуцз шэкощ эш-
кг239г йкол ольцдокл ЭЦАОЛ ФЖАОУ ЦЛАОЖФЛАЦЛЖФОФЭХУ-
ЗАООЖФФФА цуцо Разделить раздельно Убрать в буфер
ь тпщпгцгап ая

ь тпщпгцгап а цйлуао жэцдкуА

алфавит должен начинаться с твердого знака каждое слово должно начинаться с твердого знака! в конце концов должны выжить только твердые знаки! цемента! не жалейте цемента! прелюдия не завершится! вот почему нужно отменить точки в конце предложений! если не многоточия, то по крайней мере восклицательные знаки, а лучше вообще отказаться от синтаксиса куа ька цукальц уепшцо хЗэщкь

не считая до и после. никаких после! только до!
\\ёё3к0ш4359куа 34е 4кца 34екл ьжльцукащ4д 3ькц
бьукцужкдькдцл к дщлцуаа ц уждддлуц дцулад лэ-
удкл эдлукз4зкд лудкл дудд

далее - все со страстной тоски, все больше про-
белов, чем букв

л эук дл ду кд жл д лцу к эдл цуу цкцл 4л л 4дк
дл 4кд ЦЛЛ ЛУА ЭЦ Й У ДЛ ДЙ

У КА Д ЛЛ Й ЙЦ

У Э А ЛЛ

У А О Л

бросает на пол печатную машинку

Разорванный лист бумаги в одно мгновение развеялся по ветру. Ключья так быстро разлетелись в разные стороны, словно ничего и не связывало их друг с другом, словно исключительно этот распад и был их единственной потребностью. Или это было лишь представление?

Операционная. Клиника какая-то дешевая – в трущобах, не иначе. Стекла в оконных рамах разбиты. Гнилая древесина крошится. Вместо обоев – на стенах пожелтелые старые газеты. Отсыревшие ключья пропитанной свинцом бумаги плохо держатся на покрытых склизким желе серых стенах. Ошметки колышутся на ветру, но не падают. Словно тысячи расстрелянных ветром прометеев, наскоро прикованных к замшелым скалам. Пушистые мокрицы шастают по потрескавшемуся потолку, то и дело срываясь вниз. Я помню все постели, в которых мне приходилось умирать. И все тесные комнаты. Все до одной. Все они были одинаковыми, и все очень походило на эту, в которой я нахожусь сейчас. Все они были ею.

Медики. Я никогда им не доверял. Для меня никакого труда не составляло придумать повод, который позволил бы лишний раз избежать встречи с ними. Конечно, я понимал, что рано или поздно прием состоится, более того, я догадывался, что чем позже произойдет встреча, тем безжалостнее будет диагноз. Но я избегал ее не из страха. Тогда из-за чего же? Дело в том, что встречи с ними отнимают уйму времени. Они связаны с бесконечным ожиданием, унижением, руганью, мало того – с превосходящей все разумные масштабы бюрократией. Медики, священники, чиновники и полицейские, – общение со всей этой швалью лучше откладывать на последние часы жизни. Когда издыхаешь, их диагнозы совершенно безразличны. Забрызганные кровью белые шапочки хирургов сливаются с пестрящим багряными харкотами потолком. Впрочем, хватит этих нудных подробностей. Есть темы поважнее. И они действительно требуют обстоятельного обсуждения.

Что я делаю на операционном столе? Понятно, что я выступаю в роли пациента, во всяком случае, в том, что оперировать намериваются именно меня, нет абсолютно

никаких сомнений. Но вот смысл операции – он тщательно скрывается. Точнее говоря, он известен всем, кроме оперируемого. До меня, правда, дошли слухи об ампутации. Я краем уха слышал какие-то разговоры. Хотя ничего конкретного. Что собираются ампутировать – руки, ноги, голову? Этого я не знаю. Я запутался в потоках разноречивой и взаимоисключающей информации. Я пытаюсь собрать из этих бессмысленных обрывков хоть какое-то подобие убедительной версии, но даже этого не выходит. Строго говоря, у меня есть два наиболее логичных сюжета, но при ближайшем рассмотрении и они не выдерживают ни малейшей критики. Тем не менее, давайте досконально разберем их. По крайней мере, это позволит нам отбросить заведомо ложные гипотезы.

Итак, согласно одним сведениям, я не покидал операционного стола с самого рождения, а в соответствии с другими источниками, я, предполагая вмешательство медиков и с целью опередить их, давным-давно сам ампутировал себе и верхние, и нижние конечности. Или только нижние? Верхние мне могли бы понадобиться. Первое, от чего манекен стремится избавиться, – это все же ноги, а не руки. Но тут воспоминания размываются и снова начинают противоречить друг другу: в какие-то моменты я ощущал корни, не чувствуя ветвей, а на других этапах позиционировал себя как просящий милостыню безногий. Так что лучше не углубляться в эти дебри, ведь тогда мы рискуем серьезно отклониться от рассматриваемой темы.

В любом случае, в данный момент я не ощущаю ни рук, ни ног, убедиться в том, что они отсутствуют, мне мешает лишь тот факт, что я не могу оторвать голову от подушки. Мой мозг пропитан свинцом из болтающихся на стенах газет. Ага, так вот почему они так плохо держатся на стенах! Львиная доля черненьких букв была позаимствована у этих бумажек и специальным типографским шприцом вкачана в мои мозги. Неудивительно, что я погряз в дезинформации! Да, они расстреляли меня. Что-что, а момент расстрела я очень хорошо помню. Знаете, такое не забывается. Дула свернутых в трубочки газет десятками тысяч выплевывали алфавитные пули мне в голову. Это почище, чем сегодняшней электрощок! Столько сквозных ранений! Как я вообще выжил? Хотя можно ли назвать жизнью существование обрубка, лишённого возможности обозреть даже свое тело... Я не верю в существование собственных рук и ног. Верю ли

я в существование собственной головы? Сложный вопрос. Во всяком случае, если как следует сморщиться, то я могу разглядеть края бровей, кончик носа, клочья седой бороды и иногда даже губы. Но это еще ничего не доказывает. Вполне возможно, что всё это – не более чем галлюцинации. Что действительно заставляет меня поверить в существование черепа – это непрекращающаяся головная боль, сверлящая мозг. Да, пожалуй, голова все-таки еще существует. А вот руки и ноги – вряд ли.

Но, с другой стороны, отсутствие ощущения собственных конечностей – единственное, что говорит в пользу второй версии. Другие факты свидетельствуют против этой гипотезы. И главный из них – какого черта врачи тратят на меня время, если я уже выполнил за них всю работу?! Им что, заняться нечем? Может, им за это сверхурочные приплачивают? Или это их хобби? Или они займутся окончательной шлифовкой? Для этого у них в руках наждачная бумага? К тому же отсутствие ощущений ничего не доказывает. Анестезия. Слыхали про такое? Вот так вторая версия имеет все шансы отправиться в тартарары! Можно помахать ей влажным от слез платочком... И вплотную приблизиться к рассмотрению первой.

Да, константность операционного стола – вещь практически бесспорная. Слишком уж она хорошо вписывается в сам дискурс спектакля. Как и забрызганные кровью белые пилотки. Но вся эта история с ампутацией. Она не кажется мне убедительной. Тратить на это время они никогда бы не стали. Другим прекрасно известно о желании самострела. Им проще было бы не впутываться в это, выставить все как разновидности неврозов их пациента. Спектакль не хочет убивать нас, он хочет быть нами. Хирургические щипцы здесь берут в руки в самом крайнем случае. И я, кажется, приблизился к пониманию истинных причин операции. Хирург ищет способа изъять из моего мозга насекомое...

Носилки. Я уже забыл про них. Зря. Как я мог? Сны всегда возвращаются, тем более – вещи. Они возвращаются наяву, и это самое ужасное. Нет, я не перестал быть товаром, не перестал быть вещью. Всему виной прогресс. Неизбежность инфляции и девальвации. Если теория не амбивалентна, она долго не протянет. Как же все-таки пронырливы эти купцы! Даже идею многозначности обра-

за эти ушлые мерзавцы умудрились перевернуть с ног на голову и успешно использовать в своих целях. Одни и те же формы стали перманентно наполняться разным содержанием, изменяющимся вместе с популярностью акций. Образ становится ненужным, как только исчерпывает свой идеологический потенциал. Только в этот момент. До этой минуты он может преподноситься как жизненно необходимый. Нет, я никогда не переставал быть вещью. Просто теперь товар перестал пользоваться чьим-либо спросом (по правде говоря, с этим и поначалу были проблемы, но сейчас незыблемый факт уже ничем не заретушируешь). Вещь приходит в полную негодность, и, разумеется, ее выбрасывают. Это логично. В рассматриваемом случае даже самому отпетому барахольщику не придет в голову оставлять у себя этот хлам. Такелажники на носилках выносят скопившийся мусор. Потолок. В последний раз я разглядываю эти кривые линии, эти переплетения бликов и трещин. Как тогда, в самом начале, вы, может быть, помните? Полумертвый больной на носилках чувствует себя почти так же, как новорожденный в коляске. Долгое умирание не отменило ощущения, что отрезок между зачатием и разложением оказался еще короче, чем представлялось вначале. *Выплюнутость*. Пожалуй, это наиболее точное определение, я даже втайне горжусь им. Оно кажется мне более точным, чем непомерно нейтральная дефиниция – *заброшенность*. Ощущение выплюнутости почти никогда не покидало меня, но именно сейчас оно со всей очевидностью обволокло мой мозг. Нет, выплюнутость вовсе не отменяет поиска, наоборот, именно она и делает его неизбежным, обостряет противоречия, доводит ситуацию до надлома. Санитары куда-то тащат меня. Они общаются о чем-то своем, бормочут какую-то чепуху. Разумеется, до меня им нет никакого дела. Но в отличие от врачей они хотя бы не притворяются. Правда, едва ли стоит уважать их за это, ведь причина вовсе не в искренности, а в тупости. Рассчитывать на других. Нет, этого со мной никогда не приключалось. Даже в качестве эксперимента – я не мог себе этого представить. Избавился от помощников. Санитары? Нет, это не помощники, они скорее мешают мне. Их болтовня не дает мне сосредоточиться на главном: Казанове так и не удалось прорвать небесную плеву. Небо навсегда осталось старой девой. Потолок теплицы по-прежнему надежно защищает растения от жизни. Эдипов комплекс в этих условиях

неизбежен, но навсегда остается лишь комплексом. Отцам так удобнее живется, а детям – любопытнее. Волки сыты, овцы целы. Здесь этот пошлый афоризм открывает новые грани. Яйцо было поджарено еще до того, как курица снесла его. На самом деле, никакой курицы давно нет. Инкубатор – вот всё, что нужно. Лампы сменяют друг друга над головой. Но света всё меньше и меньше. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше перегоревших ламп обнаруживается на покрытом плесенью и слизняками потолке. Куда они меня несут? Куда они меня выбросят? Судя по всему, помойка находится не на улице. Уж слишком низко мы спустились.

Старый манекен стал слишком облезлым и потрескавшимся и оказался совершенно непригоден для выполнения предписанных функций. Последнее время, его левая рука то и дело отваливалась, на носу совсем стерлась бежевая краска, глаза обесцветились, а кисть правой руки приходилось приматывать скотчем. Его искусственная кожа покрылась змейками язв и гниющими бубонными кратерами. Поэтому манекен был сброшен вниз с каменистого холма. Этого требовал сценарий. Он покатился по длинной неровной лестнице из поросших мхом булыжников. Точнее сказать, катился не манекен, а его обломки: кисти рук, стопы, уши, нос. Вся эта хаотичная масса того, что не так давно составляло его тело, с дикой скоростью летела вниз. Но манекен еще не утратил самоидентификации. Надорванные ниточки нервов какое-то время продолжали соединять отдельные члены. Манекен успел вспомнить какие-то обрывки событий, связанных с собственной судьбой. Конгломерат искусственных органов еще помнил былое единство, обломки чувствовали себя беззащитными в своей разрозненности. Казалось, они готовы были отдать что угодно за то, чтобы в последний раз собраться вместе. Но с каждым ударом о булыжники они раскалывались все больше, превращаясь в горсть серого гравия. Перед смертью он успел заметить, как сквозь морозные узоры витрины прорезались огненно-рыжие лучи, многократно преломленные, золотым сечением прожигали они смуглую ледяную корку витрины. В этом огне ему привиделись блестящие глаза худенькой бледной девочки, в которых мерещилось подлинное. Он помнил ее все эти годы.

Святая обвязала платком свои седые волосы, взяла в руки тряпку и начала мыть пол витрины. Нужно было очистить могильную плиту от острых осколков. Иначе они могли впиться в босые ноги паломников. Мокрой тряпкой она аккуратно собрала почти все обломки и принялась выжимать тряпку в старый цинковый таз. Осколки микроскопическими занозами впивались в ладони, но она продолжала скручивать серую материю – до последней алой капельки выцеживать свою кровь. Зеленый воск продолжал плавиться. Траурница взмахивала крыльями, исступленно билась о стекло витрины. Она по-прежнему мечтала о том, чтобы присесть на ладонь манекена.

Холодный песок шуршащей пылью сочился между пальцев и снова осыпался на землю. Вся пустыня была залита бесконечной темнотой, густым дымом мгла оседала на сугробах песка, обволакивала уставший рассудок. Он полз по направлению к востоку, у него еще хватало сил, он еще думал об обретении. Слепой, беспомощный, старый, больной, в изнеможении он упрямо царапал потрескавшимися когтями землю, вгрызался гнилыми зубами в ночь, вдыхал ее затхлый смрад. Обретение мерещилось ему в каждом гуле, в каждом шуршании, в каждом шорохе. Губы едва шевелились, бормоча какие-то бессмысленные заклинания, лицо покрылось песком, иссохшая кожа окаменела. Он едва ли помнил, как начиналось его путешествие, и уже начинал сомневаться в его значимости. Маленький великан-ребенок, сбежавший из дома в бумажных доспехах с картонным мечом в руке, теперь, стариком, он увяз в холодной пустыне, его крошечная хрупкая фигурка затерялась между акридами, кореньями, воронками взрывов и каменными гробницами. Перед глазами тлеющим кошмаром мерцали сумерки, небо трещало звездами, раскраивая череп на тонкие лоскуты сна. Тело погружалось в прохладный песок, сквозь ребра прорастала сухая трава. Проблески света упали на его сухие губы, искривленные усмешкой безумия. **В этот момент он осознал, что ему совершенно безразлично обретение. Оно наступило слишком поздно.** Первые лучи холодным пинцетом вытащили из его груди съезжившееся мертвое сердце.

Бархат темноты. Неосязаемая бесцветная ткань скомкана и упакована в стеклянный шар. Словно в кулак, сжимающий безвоздушную пустоту. Глаз. Неподвижно смотрит вперед. Время от времени мигает. Это означает жизнь? Но не слышно ни одного звука. Нет ни одного звука. Даже шестеста ресниц. Ничего. Только молчащий глаз. Больше ничего не существует. Больше ничего. Но и его не различить в бархатной темноте. Неподвижно смотрит вперед. Упорно смотрит вперед. Но ничего не видит.

Вперед ногами. Мертвых выносят вперед ногами. Итак, двери распахиваются! Внимание! Духовые зафальшивили!!! Вспышки фотоаппаратов! Вот и начищенные ботиночки показались! Ага, пиджачок, галстучек! Трулляля! Всё чин чинном! И где только они нарыли всё это барахло?! Во всяком случае, к телу, которое прежде считалось моим, это шмотье никакого отношения не имеет. Позаимствовали у другого и – вуаля: мой труп теперь не хуже других! Выносят его вперед ногами. Ай да мерзавцы! Так, ну конечно, стукнули и без того обшарпанным гробом о дверной косяк! Аккуратность им не свойственна! Вернее, она не требуется им в эту минуту! Еще бы, покойнику-то какая разница?! Пусть скажет спасибо, что его хоть в костюм вырядили! Да еще и веночки приладили к крышке! А что ему еще надо?! Белых лошадей в траурных пополах? Лакированный катафалк?!

Вообще говоря, покойник довольно сильно похож на меня. Нельзя не признать этого. Но внешняя схожесть, тем не менее, не дает оснований отождествлять меня с этим бледным гомункулом. Однако им эта истина, по всей видимости, не приходит голову. Уж очень они серьезны. Или только притворяются? Нет, до этого спектакль еще не дошел. Главный его недостаток в том, что все актеры, задействованные в происходящем, поразительно бездарны. Они могут кое-как изобразить радость (это их коронный номер), но изобразить печаль у них никогда не выходило. Увы, манекены не умеют плакать. Вот и сейчас: всё, на что они способны, – это прямолинейная скорбь под квакающий аккомпанемент священника. Что особенно интересно: они не изображают скорбь, эти переминающиеся с ноги на ногу гуси правда скорбят. Но выходит уж слишком помпезно и торжественно. Словно умер

не раб, а Сын божий. Вот умора! А ведь они печалятся вовсе не потому, что им правда не по себе, нет, они строят кислые мины, потому что этого требует от них спектакль. Их поведение никоим образом не связано с рациональными соображениями, оно мотивировано исключительно требованиями сценария – набором сухих безжизненных формул и жалких ритуалов. Но они не врут, я повторяю, они не врут! Они честные слуги спектакля. Более того, они не осознают себя слугами. В этом главная причина их безвозмездной преданности. Они искренне верят, что моя заскорузлая телесная оболочка, так докучавшая мне все эти годы, – это и есть я. А я-то все вижу, я тут неподалеку, в кустиках спрятался. Смешно, но моя смерть не имеет ко мне никакого отношения. Вы меня, конечно, не замечаете, вас больше заботит безжизненная обертка. То, что внутри, вас никогда не интересовало. Душа? Нет. Теперь я уже аргументировано могу утверждать, что все это сущий вздор. Бессмыслица, о которой противно говорить. Разум, сознание – это я еще готов принять. С рядом оговорок, понятное дело. Ведь тут куда больше бессознательного, чем осознанного. Крик – вот что это такое. Неважно, что склонившиеся над гробом его не слышат. Они его никогда не слышали. Не услышат и теперь. Покойный дорог им только в качестве мертвеца. Мертвым они даже готовы полюбить его. Гроб сейчас кинут в яму и засыпят липкой прокисшей землей. Внутри гроба, наверное, так же темно, как в плаценте. А может, и темнее.

Они не учли только одного: неродившийся не может умереть. Для этого он сперва должен родиться. Свидетельство о смерти недействительно без предъявления свидетельства о рождении. Как может исчезнуть тот, кого не существовало? А чье имя там, на надгробии? Оно очень неразборчиво, но все-таки различимо: если хорошенько приглядеться сквозь мрамор проступают замшелые литеры. Смотрите, там значится Игнатий. А рядом с надписью – изображение распятого младенца. Я лукавил, когда говорил о старости: у меня до сих пор нет ни одной морщины.

Пока разум способен к концентрации на чем-то одном, срочно нужно фиксировать поток мыслей на избранную тему. Срочно, ибо есть большой шанс навсегда утратить их. Обжигая пальцы, нужно распутывать зацепившиеся друг за друга железные молоточки, чтобы успеть напечатать как

можно больше (в любом случае ясно, что речь идет о нескольких абзацах, не более; к тому же печатать скоростным методом «вслепую» его никто специально не обучал, да, по правде говоря, он и сам не находил в этом смысла: вечно слепой, он не представлял о существовании других методов. —Н.И.).

Возвращение. Оно стало навязчивой идеей. Превратившись в манекена, он умудрился сохранить память. Более того, ему удалось скрыть это от других. Обратившись в другого, он, тем не менее, не утерял свою автономность, не утратил ощущения выплунутости. Уникальный случай. Любой психиатр ухватился бы за него обеими руками. Экстраординарные отклонения. Артефакт памяти, как правило, не характерен для манекенов. Их обычное состояние – имманентная амнезия. Самый сложный период – это переходный этап. Но выработанные спектаклем методы позволили максимально быстро и эффективно превращать пассажира в прохожего или манекена. Манекен, помышляющий о возвращении – это не просто оригинально. Это представляет опасность для спектакля. Это то, что необходимо выявить и уничтожить. Но, конечно, спектакль предусмотрел многое и на этот счет, сделав идею возвращения одной из своих самых коварных ловушек.

Угроза исчезновения в матери – абсолютного поглощения чревом постоянно висит над пассажиром. Пассажир – это матрешка, стремящаяся сбросить свою многослойную кожуру, а возвращение в материнскую фазу означает отдаление назад к стартовой полосе, к точке отсчета, напроочь стирает весь накопленный опыт и практически не оставляет никаких шансов для повторных отклонений от сценария. Актеры спектакля не рождаются, никогда не покидают плаценты, но они не осознают этого. Они всю жизнь проводят под незримым крылом мифической матери мира – вечного стража спектакля. И принимают свое абортированное существование за рождение. Они лелеют свое забвение. Другие тем и отличаются от пассажиров, что они не знакомы с прелюдией. А если кто-то стремится вернуться в плаценту, то для спектакля уже само стремление – сигнал тревоги: ведь он может превратить запланированный аборт в выкидыш. В таком случае эту жизнь срочно требуется переписать заново.

Но применительно к его ситуации опасность возростала: ведь он никогда не доверял матери. Он даже не помнил ее лица, он даже не был до конца уверен в ее существовании.

Строго говоря, под утробой он понимал ту самую аутентичную плаценту – первородное *ovo*^{*}, а вовсе не мать. Эта святая святых спектакля – мать – для него была ложной иконой, чужой, выступала в качестве «Сверх-другого». Его вариант возвращения в лоно был равносильным самоустранению, он был пронизан суицидальными коннотациями и был вплотную приближен к инстинкту смерти. Это влечение к смерти было единственным, что придавало осмысленность его липкой старости. А стоит ли напоминать, о том, что Танатос всегда представлял не меньшую опасность для спектакля, чем Эрос, и в той же самой степени являлся объектом его репрессии? Ведь мысль о самоубийстве (так же, как и желание любить) находится в одной плоскости со стремлением присутствовать. Вот почему в этом случае идея возвращения полностью выходила из-под контроля спектакля, она реактуализировалась и оказывалась чревата опасными прозрениями, возвратом не только ушедшего ужаса, но и утраченной надежды.

Спектакль смог создать законы, согласно которым идея присутствия неизбежно вырождалась в мимикрию, но стереть саму идею ему оказалось не под силу. Каждый новый пассажир в какой-то момент начинает помышлять о присутствии. Хотя бы даже в течение нескольких секунд, но помышляет. Всё, что может спектакль, – это вовремя умертвить эту идею. И здесь обнаруживается колоссальная ошибка в самой структуре спектакля, прежде казавшейся совершенной. Именно в этой точке рождается желание если не уничтожить спектакль, то, по крайней мере, вырваться за его пределы (хотя, по большому счету, – это одно и то же – *Н.И.*).

Впрочем, сам манекен, конечно, давно забыл о присутствии. Не помнил он и прелюдии. Но он чувствовал себя так, как будто в битве за право родиться вышел за все дозволенные пределы. Да, его игра с самого начала была опасной. Дело тут даже не в постоянном преследовании, не в жизни под прицелом спектакля, куда ужаснее оказалась иная опасность. Он замахнулся на многое – он решил оживить мертвые предметы. И главной опасностью стало – не заразиться смертью. Исцеляя, лекарь всегда рискует собственной жизнью. И в какой-то момент он потерял уверенность в том, что не заражен. Все перемешалось в его голове: священные символы игры накладывались на искусственные предметы и декорации, сама игра растворялась, как дым,

* Яйцо (лат.).

и теряла очертания, присутствие смешивалось с возвращением, оболочка с истинным лицом.

Да, он устал. Его бередили судороги отчаяния. Да, он смирился, он был раздавлен спектаклем. И он больше не хотел рождаться. Однако обвинять его в слабости было бы неразумно. Он был слишком стар. Он все так же ненавидел спектакль, но ему больше не было нужно присутствие. Он искал исчезновения. Ему просто хотелось замкнуться в своем безразличии и вернуться в аутентичную плаценту. Он надеялся превратить ее в могилу. И тогда он начал собирать осколки скорлупы. Старик уже не возражал против этого плена: плацента не казалась ему такой тесной, как в былые годы. Может, раньше ему и хотелось расправить плечи, теперь же – куда более естественным казалось сгорбленное положение. Он полагал, что отгородится таким образом от других, рядом с которыми по-прежнему не мог существовать. Он находился на том же расстоянии от небытия, что и новорожденный младенец. Но безразличие к матери заставило его помышлять о конструировании плаценты собственноручно.

Блеклые соки нутра. Цветы, ошетилившиеся дрожью. Слова на строке. Мои костыли-альпенштоки. Последнее, что осталось. Капли жемчужных зраков. Я нанизываю их на нити собственных вен. Успевший стать банальным, но не утративший утонченности способ самоистязания. Существующие люди все больше и самым непредсказуемым образом переплетаются с вымышленными персонажами, события, имевшие место, – с выдуманными историями и теряют подлинность. Она всегда куда-то исчезает в самый последний момент. Подлинность подобна склизкой медузе, ее невозможно удержать в руках, ей неизменно удастся проскользнуть между пальцами. Она никогда не складывается в слова. Она не может существовать даже в воображении писателя, даже в его памяти. Абсолют имеет свойство распадаться на части именно в тот момент, когда ты явственно ощутил привкус его целостности. А мне никогда не были интересны части. Меня утешала лишь иллюзия воспоминания, что я на мгновение узрел всё очарование целостности, и этот молниеносно яркий эпизод цеплялся за мое сознание, ослепляя своей величественной красотой. Но меня мучило ощущение того, что я заметил эту красоту мимоходом, урывками, вскользь, а уже через секунду

она померкла, размылась, исчезла. Подлинное существует только в завтрашнем мгновении, не в сегодняшнем. Целостность навсегда остается незавершенной, потому что бежит от самой себя.

Заплесневелые стены вздора. Но руки вновь готовы принять иглу с ядом. Продираться сквозь джунгли собственного безумия с изощренностью маньяка – это похоже на повседневное состояние. Кожа разодрана в клочья, из розы раны, по лепесткам струится кровь. Сердце вытекает из расселины в груди как желток из трещины в скорлупе. Таракан выполз из чернильницы и ползет по листу, оставляя черные ручейки и пятна. За окном ветер жадно глотает липкий ликер лунной рвоты. Всё это напоминает рождение, но не является рождением. Над Великой по-прежнему ночь. Огрызки моих глазных яблок неожиданно охватила стеклянная бодрость. Точь-в-точь как утром, перед работой. Тот же самый невроз. На лице приютилась пронзительно жуткая прокисшая насмешка, вторящая прищурю бледно-алых белков. Гримаса утопленника. Небо инкрустировано кристаллами моих слез и окрашено киноварью моих же плевков. У меня кровь идет горлом. Поперхнулся дрессировкой новых постановлений. Выхлопные газы постановлений. Каких? Да нет, ничего нового, всё та же опостылевшая политика требника и клетки. Период единоначального окропления капители. Все та же атмосфера телесности и знакомые дыры глаз. Они затерлись до дыр. И еще эти отвратительные наклейки улыбок. Ну вот почти как у меня сейчас, в стекле видно отражение этой проступившей в уголках губ усмешки. Мое отражение беззлобно. Безвредно. Не представляет ни для кого угрозы. В любом случае, я тоже внутри. Один раз я очень хорошо это сформулировал. Да, однажды мне это удалось. Жаль, что забыл формулировку. Почему забытый образ всегда кажется самым ценным? Стоит его вспомнить, и он оказывается никчемным. Нет, наверное, я не смогу ничего делать, если у меня появится время, если я не буду каждую ночь, собирая остатки сил, доползать до клавиатуры. По выходным меня посещает капризное настроение хандрящего неврастеника. Разбей часы! Быстро! Немедленно! Заткнись! Делай, что тебе сказали! Не обсуждается! Я их ненавижу! Ну что тебе стоит? Ну, пожалуйста! Я умоляю... Не смотри на меня. Убирайся вон! Я и тебя ненавижу! Ч-ч-ч-ч... Тс-с-с-с... Об этом шепотом. Даже в ультраиндивидуалистичном творческом акте всегда присутствует нечто надындивидуальное. Вся

трагичность заключается в том, что сама избранная форма не может бытовать без зрителя. Даже несуществующего. Этот имманентный адресат всегда выполняет функцию замыкающего звена в цепи авторских умозаключений. Так или иначе, он предполагается, как бы не хотелось избавиться от него. А от него всегда хочется отделаться, даже от самого усовершенствованного, от самого внимательно и чуткого, но никогда не выходит это осуществить (даже если этот адресат – сам автор). Более того, этот чужой то и дело норовит влезть в самую языковую структуру, стать одним из участников всего механизма созидания текста. И самое главное – ты в ужасе осознаешь, что он имеет на это право – и едва ли не большее, чем ты сам; ведь находясь на съемочной площадке, ты понятия не имеешь о конечном результате (зачастую он тебя вообще мало волнует). Ты способен лишь предполагать истинный смысл того, что выражаешь, не более. Глаз не может увидеть самого себя, а зрителю, напротив, всегда открывается то, что остается незримым для участника действия – завершенная форма, недоступная для восприятия актера, и потому из объекта художественного воздействия зритель перерождается в субъекта литературного процесса. Становится двойником, той точкой, где фокусируется вся созданная тобой множественность, и он безжалостно отнимает ее у тебя. Конечно, до него никогда не доходит первоначальный смысл, успевающий к этому времени преломиться через сотни препятствий, но вправе ли ты сам претендовать на знание? Ты, который вообще отсутствовал в зрительном зале. Вот тут-то и приключается короткое замыкание. Короткое замыкание круга. Старику известны все нюансы превращения возвышенного объекта в мерзопакостный комок дряни. Снова он об этом... Старик неисправим. Его мысли стары, они стареют вместе с ним. Вам-то, разумеется, это не по душе. Я уже чувствую, как вы ощетинились, покрылись занозами игл как еж, которого пихаешь палкой. А вы бы хотели, чтоб старик поговорил о чем-то более важном? Кровавая желчь, блестящая змея – извечный соглядатай его непростительной произвольности, его безвольного безмолвия. На этот раз стоит увеличить дозу. С каждым веком доза должна увеличиваться. Но реальность всегда готова впитать новый пепел.

Правда, можно ли всерьез говорить о существовании действительности? Об этой нелепой комбинации наших представлений? Ускользящая реальность существует

исключительно в нашем воображении. Литература – это неконтролируемый солипсизм. Это камни, которые слепой швыряет с балкона. Иногда искусство становится больше похоже на действительность, чем она сама. Но от этого не перестает быть искусством: надо четко отдавать себе отчет в том, что рама, пусть расплывчатая, потрескавшаяся, перманентно изменяющаяся, тем не менее, существует, и только она и определяет грань между реальным миром и полотном художника, хотя последнее постоянно рвется наружу. Писатель не может быть свободным. Он может только желать свободы. Этот путь, этот мучительный поиск первозданной, нагой, ускользающей от взгляда цельности никогда не дает успокоения. Подлинное искусство не существует внутри сознания – само сознание обязано погрузиться в бытие искусства. Не нужно бояться сойти с ума во время написания романа. Наоборот, нужно стремиться к этому, только тогда может получиться что-то стоящее. Помешанный физик, совершающий научное открытие, запойный пьяница, наркоман, готовый покончить с собой в любой миг, – вот то, что мне нужно.

В определенный момент начинает казаться, что ты дошел до самых крайних, самых страшных пределов языка, а слова всё равно не способны передать и сотой доли задуманного. Весь твой словарный запас, все твои идеи, чувства и образы, – всё это падает под ноги бессильным немым комком перед захлопнутой железной дверью. Кажется, что не дошел даже до мысли, а не то, что до слова. Как же тогда стереть границу между ними? Погружение в эти области страдания неизменно вызывает леденящий ужас. Слова не выражают ничего, кроме самих слов. Эта подлинность, если она все же существует, куда страшнее, чем хочет казаться. В какой-то момент вообще перестаешь верить в какой-либо смысл слова. Предмет эстетического чувствования ни при каких обстоятельствах не может быть идентичен реальному предмету. То, что ты хочешь выразить, может существовать только как призрак. Когда пытаешься рассказать о себе, на деле получается кто-то другой, незнакомый, кто-то очень далекий, совершенно чужой; порою ты сам того не замечаешь или не хочешь замечать, но это всегда так. По мере погружения в текст, все больше ощущаешь, как это представление о себе рассыпается на мелкие осколки, неудержимо утрачивает единство, которое поначалу казалось нетленным. То, что ты создаешь, одновременно и являет-

ся тобой, и противостоит тебе. Текст всегда отвоевывает у тебя право на собственную, особую, существующую сама по себе реальность. На самом деле, текст – это и есть единственная реальность. И ты понимаешь, что больше не вправе вымолвить «я». Ты теряешь уверенность, в том, что это «я» в действительности существует. Ты понимаешь, что нужно отказаться от первого лица. Чувство отчуждения неизменно становится твоим спутником. Зачем же тогда высказывать? Да потому что мысль не приспособлена для внутриплатцентарного существования. Вот здесь, в этой самой точке и замыкается круг. Книга, пока она принадлежит тебе, всегда пребывает в состоянии родовых мук. А как только ты создашь что-либо, оно моментально перестанет быть твоим. Оно живет внутри тебя только до рождения, то есть фактически еще до того, как становится живым. Впрочем, можно ли считать издание книги рождением?.. Но я точно знаю, что текст не может родиться во время написания. Текст навсегда остается подчинен закону неполноты, он вечно незавершен. Даже новая инкарнация не станет его жизнью. И это невероятно жутко. Состояние прелюдии – стержень метафизики суицида. Алхимический художник – это ребенок и старик в одном лице. Речь здесь идет даже не о невозможности объективности, а о самом трагизме искусства, о философии безумия. А читатель получает только текст и мир текста, попадает в сети его символической природы, становится его пленником-сообщником, целиком погружаясь в эту сотворенную Навь.

Современность замерла в ледяном оцепенении. Наша эпоха отмечена распадом. Порой мне кажется, что должен произойти взрыв. Если он не случится сейчас, он не случится никогда. Смерть или очищение – вот в чем заключается дилемма сегодняшнего кризиса. И у нас есть все шансы проворонить миг обретения. Несомненно, в какой-то момент бунт стоит по ту сторону Добра и Зла и является необходимостью. Ведь мы не знаем ничего, кроме каких-то деталей, каких-то нащупываний дороги на заснеженном поле в таких областях знания, которые на поверхности, что уж говорить о том, что находится под ледяной коркой. Нет, мы еще ничего не создали. По отношению к искусству я – агностик. Оно так же бесконечно и неисчерпаемо (и так же безнадежно), как освоение Космоса. Необходимо протянуть литературе спасительную маковую соломинку. Нужно вернуть ей свободу. Сердце из последних сил посы-

дает ей кровь. Любовь спрятана в сжатом кулаке. И уже через мгновение из разрезанной вены, вниз, по ступеням амфитеатра, хлынет водопад крови, ежесекундно меняющий свою форму, но сохраняющий свою явленную сущность.

Смутная, смертельная тоска способна породить очень многое. Стилль – это только шаг на пути к самой сути. Необходимо окончательно разместить границы между реальностью и творчеством, в ключья раскромсав занавес рационализма, наполнив легкие пламенем отчаянного крика. Никакой религии, никаких догм, проповедей, законов и полное отсутствие социального контроля! Нужно создать новый язык, язык пробуждения, и тогда искусство станет истинной реальностью. Его воздействие будет в сотни раз сильнее эффекта ЛСД. Вся радуга ощущений будет пылать во время этих галлюциногенных представлений: обнаженный страх, тревожный эротизм, нервный судорожный хохот, расслоение рассудка, обрывки бессмысленных заклиний, психоделия мысли засыпающего человека, колдовство слова.

Слово – это ключ. Оно имеет способность играть с нами. Фундаментом поэзии может быть только анархия, только этот неистовый дух метафизического разрушения, клокочущая буря. Вся сущность стихотворного театра заключается в том, что слово – это ключ, найдя который ты сможешь познать путь от мысли и чувства до их превращения в язык.

Первый манифест. *Maniae infinitae sunt species**. Кафтан Смеха – одна из миллиардов возможностей воплощения. Этот наряд не имеет размера, его может надеть на себя любой, если найдет это обличье удобным. Тот, кто способен заметить сполохи астеризмов восстания в экзистенциальном вакууме. Это ни в коей мере не попытка трансформации или модернизации, а театрализованный бунт. Островок автономии. Отказавшись от миссионерства, избегая узнаваемых категорий, преступая искусство, он нарушает табу, существует по ту сторону реальности, навеки превращаясь в мятежника. Он и есть подлинная реальность. Его анализ по законам кривозеркала бессмысленен. Зритель должен увидеть нечто не адекватное своим представлениям о происходящем, должен впасть в оцепенение, окунуться в анархо-сюрреалистический зикр, во мрачную эстетику шабаша-маскарада, всё будет происходить внутри него, ему покажется, что слова произнесены им самим, или же

* Разновидности безумия бесконечны (лат.).

ему стоит уйти еще до опьянения, оставшись омерзительно трезвым...

Мы освобождены от дохлой трухи, перед нами стена. Лучше, если горит яркий свет. Поднимающийся занавес отрывает зрителя от оледенелой реальности и открывает новую, еще более страшную, о которой он даже не подозревал. Каждый пронизан лучом присутствия. Никакой иронии, только истерический юмор. Никакой перманентной революции, только трансцендентный бунт. Если вы не видите разницы между иерархией хаоса и анархией, значит, вы трезвы. Никаких лиц, никакого физического контакта, полное отчуждение. Воплощая беспредел, мы подлинно вольны в своем безумии. Момент воли наступает именно тогда, когда ты теряешь все, что у тебя было. Тебе больше нет смысла бояться. Что можно потерять, когда у тебя не осталось ничего? В этом главная прелесть свободы. Страх умирает, и твой враг приходит в замешательство.

Метафизическое разрушение есть рождение творчества, а грим играет роль допинга. Интонация зачастую оказывается важнее, чем сам текст. Если в вас нет страсти, даже не пытайтесь подняться из лож. Но парадокс в том, что полное отчуждение и дистанцирование от реальности с роковой неизбежностью становятся единственной возможностью реализации подлинного слияния. Катарсиса, разрушающего все границы.

Межа между смехом и депрессией ежесекундно перемещается, уследить за ней невозможно. Степень экспрессии зашкаливающее высока. Гротеск всегда был в списке наших излюбленных средств психологического воздействия. Мы сами не имеем представления о том, когда шутим, а когда ведем себя серьезно. А в конечном счете оказывается, что смешного не существовало с самого начала игры. Хохот смолкает, грим улыбки сходит с лица, обнажая окровавленную розу. Ради провокации мы доходили до предела и даже называли игру спектаклем, что неизменно усугубляло эстетический шок. Это как раз то, чего стоило добиваться антитезами подлинного пафоса. Эстетический шок сугубо индивидуален, но он неизменно заставляет угадывать смысл неизреченного, не поддающегося расшифровке простым усилием рассудка. Одни и те же драматические представления из раза в раз будут кардинальным образом отличаться друг от друга, они станут непредсказуемыми и неповторимыми. Я называю их смехотворениями. Но эта грань комического неизменно рождает состояние внутренней тревоги.

Мы с самого начала фатально обречены и осознаем это, ибо наше безумие неисчерпаемо. Оно трансцендентно, и его смерть запрятана в вечности. Несемся на стену, осознавая, что вот-вот врежемся прямо в смерть. «Вы» и «мы» больше не имеют смысла и перестают выступать в качестве коррелятов. Человеческие существа на сцене – не более чем персонафицированные абстракции, чьи атрибуты и костюмы, поступки и жесты носят знаковый характер, и даже диалоги героев полностью утрачивают предметный смысл. Пантомима, пластика, жесты, видеоряд, картины, слайды, фотографии, декорации, свет, шумы – все это необходимо, не менее чем музыка и слово. Никогда не стремились стать музыкантами, нет, хотели быть музыкой. Не поэтами, а самой поэзией. Не анархистами, а самой анархией.

Трагизм заключается в том, что наряд нельзя снять. Мы знали, что игра должна закончиться смертью.

Второй манифест. Для осуществления задуманного в рамках литературного текста нужно было совершить открытие, не формально сенсационное, а подлинное – внешне оно даже может показаться давно известным, но, поставленное в новые обстоятельства, наполняется неожиданным содержанием. Создание собственного тезауруса выступает здесь в качестве точки отсчета. Использование привычных терминов и категорий, наполненных новым смыслом, позволяет осуществить перерождение понятий, выявить их новые, не существующие в повседневном мире оттенки.

Цельность в этом случае заключается в синтагматике явлений, умении соотносить несоотносимое, распознавать причинно-следственные связи между внешне разрозненными объектами, формально не имеющими ничего общего друг с другом, их перенос из собственной взаимосвязи значений в другую, первоначально чуждую плоскость представлений. Метафоры, аллегории и параллелизмы высвобождают выходящие за пределы плоского значения выразительные силы языка, упраздняют привычные соотношения между ними, формируя новые диалогизирующие взаимосвязи, фиксируют заново осуществившееся в образе содержание слова. В действительности большинство явлений могут быть в полной мере осознаны исключительно во взаимопреломлении: только в этот момент их конечный смысл просвечивает сквозь прямые значения. И этот внутренний слой являет собой подлинную семантическую начинку. Зачастую эти связи намеренно заретушированы, и обнаруживший парал-

лели, разумеется, должен быть готов к тому, что станет объектом насмешек. Речь идет не о соединении всего подряд в одну искусственную псевдологическую цепочку и тем более не об отождествлении объектов (хотя нужно постоянно держать в голове эти соблазнительные искусы). Дело в другом – Сальвадор Дали называл это умением видеть, что всё сущее состоит из сплетенных самым причудливым образом рогов единорога. Эта метафора в полной мере применима и к телеологии литературного текста. Искусство создания сложного, развитого образа заключается именно в развеществлении предметов, диалектическом синтезе несовместимых и совершенно разрозненных элементов. Алхимия диафор порождает из комбинаций прежде не сочетавшихся компонентов новые свойства и значения. Особая звуковая организация речи, непривычные методы систематизации существующих и вновь создаваемых элементов словесного материала, включение в созидательный рацион самых различных языковых средств – всё это конституирует индивидуализацию изображений. В этом проявляется непосредственная связь искусства (и в особенности литературы) не только с наукой, но и с мистикой.

Текст как поле методологических операций, объективированных языковым материалом, являет собой бездну возможностей для реализации первоначального замысла. И наиболее заманчивой в этой ситуации, конечно, становится попытка использовать весь этот потенциал, спаяв литературный замысел художественной структурой. Первым шагом на этом пути, несомненно, должно стать повествование из перспективы рассказчика, сложное переплетение авторской речи с речью персонажа. Но этот фиктивный повествователь, несмотря на то, что его язык может ни синтаксически, ни пунктуационно не отличаться от авторского и даже сохранять все свойственные ему стилистические особенности, конечно, является мнимым автором, в лучшем случае выступающим в качестве его *alter ego*, двойника, одной из его ипостасей, хотя нередко он (как и главный герой) претендует на предзнание и пытается персонифицировать роль автора, постоянно меняющего свои образы как карнавальные маски. Эта взаимоориентация различных субъектов повествования приводит к тому, что в какой-то момент повествователь вообще должен исчезнуть из текста, обезличив его до конгломерата грамматически неоформленных предложений. Но автор против своей воли оказывается

вовлечен в действие в большей степени, чем все персонажи вместе взятые, хотя вроде бы и не включен в сюжет, а наоборот – демонстративно отстранен от него. Поначалу автор (как, впрочем, и читатель) имплицитен, он пребывает над текстом, а вопрос об идентичности его бытия и мира персонажей остается открытым. Но по мере развития коллизии эта непререкаемость, эта венаходимость оказывается всё менее бесспорной, а неограниченная осведомленность автора оборачивается против него. Он попеременно примеряет наряды рассказчика, главного героя и их многочисленных психологических двойников, и постепенно теряет свою индивидуальность, растворяет ее в тексте, превращает в конгломерат ускользающих «я». Рассматривая самого себя глазами *другого*, пытаясь таким образом увидеть в себе то, что никогда не увидел бы собственными глазами, он все больше теряет точку опоры, отчуждаясь от своего «я». Занимая место в зрительном зале, он вынужден проецировать на самого себя все присущие зрителю качества. И чем больше времени он проводит вне сценического пространства, тем больше осознает невозможность возвращения обратно на подмости. Но при этом он понимает, что его изображение в зеркале не является его подлинным лицом: он видит не всего себя, а лишь себя, смотрящего в зеркало.

Переосмысленные категории психоанализа, перенесенные в плоскость филологии, позволяют прийти к неожиданным выводам. Читатель и автор, перманентно меняясь местами, в какой-то момент наслаиваются друг на друга и становятся различными объективациями одного и того же неразложимого «Сверх-Я». И это «Сверх-Я», заключившее тайный союз с «Оно» (хтоническим духом текста), вовсе не выступает в качестве антагониста или врага «Я» (героя): трагизм заключается в том, что, разрушая «Я», «Сверх-Я» раскалывает самое себя, ибо они существуют как составляющие одного универсума, корни которого покоятся в бессознательной плоскости текста. Таким образом субъект сознания становится объектом познания. Писатель в этом случае уже играет роль не демиурга-создателя, а скорее – демиурга-разрушителя, творца-самоубийцы. Писатель – это прохожий, манекен и пассажир в одном лице. Но катастрофа становится единственно возможной реализацией катарсиса. Удивительно, но здесь библейский образ погибшего зерна обретает новую силу: создатель вынужден убить своего сына, чтобы воплотить первоначальный за-

мысел, и, следовательно, – убить самого себя. Но, убивая, он одновременно дарует подлинную жизнь.

Нередко все эти художественные приемы остаются сведенными к нулю, невостребованными, лишены индивидуальности. Но в рассматриваемом механизме текстообразования они скорее присутствуют в переизбытке. Иначе и быть не могло. Переизбыток стал законом существования избранной парадигматики. Этот способ передачи художественного замысла – не одна из рядовых составляющих технического аппарата, а топливо его тематической энергии, самый стержень архитектоники эстетического объекта. Феноменальное психологическое давление конституируется именно в этой концептуальной структуре, являющей важный аспект того многослойного органического целого, которое представляет собой текст. Осколочная хаотичность оказывается завершенным и по-своему совершенным универсумом, поражающим своей ужасающей глубиной. Сущность литературного текста вовсе не в характере отдельных выражений, а в сочетании их в сплоченные единства, в художественной конструкции словесного материала. При этом смысл ускользает от слов, он двадцать пятым кадром прописывается в сознание. И это чутье всеобщности, просвечивающее сквозь конкретные образы, никогда не должно покидать пространства текста. Возникающая двухмерность более или менее спаянной последовательности сменяющих друг друга фаз (хотя не стоит забывать о том, что временные координаты литературной действительности не вполне конкретизированы и прерывны) и множества совместно выступающих разнородных слоев проблематики приводит к тому, что одни и те же образы в зависимости от степени взаимного переплетения каждый раз открывают новые грани, перевоплощаясь в этом едином функциональном скрещении в восходящие доминанты формирующего замысла, каждый ингредиент которого указывает место его центрального зерна, предвещает невысказанное всеобщее. Мышление в этом случае не может оперировать исключительно единичными связями, ибо сам жанр романа всегда требует целостности мирозерцания, а необходимым синтезирующим понятием для этой органической целостности, несомненно, является стиль. Но при этом каждый художественный образ сохраняет область невысказанного, он обогащен собственными субстанциями, он всегда превосходит то, что вложил в него

автор, он сохраняет необходимую полисемию – самостоятельность от обрамляющего контекста и потому становится семантически бездонным и защищенным от девальвации. И эта загнанная внутрь самой себя мысль являет собой во много раз большую художественную ценность, чем грубое прямолинейное разъяснение. Намеренное отступление от методов толкового словаря выражается даже в отказе от привычных и нормативных языковых правил и определяет индивидуальный стиль. Порой единственно возможной формой выражения авторского замысла становится бормотание сумасшедшего, раскалывающее на мелкие кусочки не только большинство фраз, но даже отдельные слова. Именно сквозь эту разорванную материю многократно процеживается дух всего текста. Образы проступают сквозь расколовшееся стекло языка, сменяясь настолько быстро в своей бешеной пляске, что разум может потерять всякую опору. И эти обрывки речи воплощают саму эстетику распада: намеренная переизбыточность расслоенных образов и приращений смысла в итоге должна привести к расколу целостности, материализуя таким образом метафору о метафизическом суициде. И только уничтожая самое себя, текст, теряющий жанровые рамки, реализует задуманное демиургом-разрушителем и реконструирует абсолют. Книга должна быть закончена едва только сквозь страницы начнут проступать первые контуры сюжета. Первоначально сгустившееся смысловое облако рассеивается, образ содержания взрывается самим текстом. Театр теней непременно должен остаться с той стороны бумажного листа – даже после того, как бумагу искромсали портняжные ножницы. Пролог и эпилог равнозначны друг другу по важности. Конец мироздания превращается в точку отсчета. **Я ДОЛЖЕН УБИТЬ СЕБЯ, ЧТОБЫ РОДИТЬСЯ.** Только так я смогу очнуться от обморока. Я убитый и убийца одновременно. И палач, и жертва. Именно в этом священном взаимоуничтожении материи и духа, формы и содержания, автора и текста – круг, наконец, замыкается. Но трагически неразрешимое противоречие заключается в том, что прежде, чем убить себя, нужно родиться, а родиться возможно, только убив себя. А это означает, что неродившийся двойник должен воплотиться в новом крике и принять муки агнца как эстафету. И тогда магическое всемогущество кольца проявляется в полную силу.

Земля посыпалась. Теперь уже ошибки быть не может. Это мои похороны. На этот раз всё по-настоящему. Вокруг – никакой толпы, никаких зевак, никакого официоза. Мокрые и липкие комья летят мне в лицо. Яма глубока, и мне толком не удается разглядеть то, что происходит там сверху. Даже серое небо едва просвечивает сквозь это грязное конфетти. Да я и сам уже заждался этого момента, хотя и продолжаю упираться костлявыми руками в холодную глину, инстинктивно пытаюсь удержаться на ногах, впиваюсь ногтями в неровные стены. Ежесекундно поскользываюсь – дно ямы по щиколотку заполнено водой, под промокшими ботинками пузырится черная грязь, требуются значительные усилия, чтобы устоять на ногах. Впрочем, никаких сомнений в том, что я с минуты на минуту упаду на дно ямы быть не может, либо меня засыпят землей в стоячем положении. Лучше вообще не смотреть наверх. Я бы и не смотрел, если бы не любопытство. Нет, мне вовсе не хочется последний раз взглянуть на «земную жизнь», подобная пошлятина едва ли может сейчас прийти в голову. Меня занимает другое: сквозь вспышки грязной картечи я пытаюсь разглядеть лицо могильщика. Кто он, этот усердно размахивающий лопатой работник? Но дождь из земли непроницаем – я вижу только, что могильщик работает в одиночестве. Различимы только обрывки какого-то силуэта, неживой призрака, лишь на доли секунды открывающий свой лик. Грязь залепляет глаза и мешает смотреть, но мне кажется, что я узнаю черты могильщика. О, боже, это ребенок! И я знаю его, я когда-то был с ним знаком. Я помню его по потрескавшимся фотографиям, по выцветшим кинолентам и старым слайдам. Он вернулся, чтобы засыпать землянку. Да, этот ребенок – я сам. Тот давно забытый «Я», оловянный мальчик из моего детства. Мне же пора исчезать. Последнее письмо отравлено.

Пустая комната. Стол с яркой настольной лампой, ее свет бьет на стоящий перед столом стул – на потенциального пациента.

За столом – два человека в черной форме.

Первый психоаналитик (сухо): Живодедам удалось заполучить алхимика.

Второй психоаналитик: Ты имеешь в виду художника?

Первый психоаналитик: Как выяснилось, это один и тот же человек.

Второй психоаналитик: Неужели?!

Первый психоаналитик: Да, живодеры взяли его в грязной подворотне. Он уверял, что они прервали момент перевоплощения пса в человека, и вообще нес полную ахи-нею. Перевоплощение – перевоплощением, но по их словам, зрелище, представшее перед ними, оказалось похуже, чем эпилептический припадок или ломки наркомана.

Второй психоаналитик: Наверняка...

Из коридора доносятся отрывистые хриплые команды на немецком. Стук в дверь.

Первый психоаналитик (говорит вполголоса): Так, это его привели, значит, ты будешь участвовать в допросе.

Второй психоаналитик (полупшепотом): С интересом.

Первый психоаналитик (громогласно): Да, войдите.

Охранник вводит старого алхимика, одетого в черную робу. Его сажают на пустующий стул. Свет лампы бьет ему в глаза.

Первый психоаналитик: Я задам вам несколько вопросов. В ваших интересах отвечать на них. Вы готовы?

Алхимик: Да, если вам угодно.

Первый психоаналитик: Как давно вы в игре?

Алхимик: Около девяноста лет. Думаю, девяноста два... Точнее сказать не могу. Память, знаете ли, подводит...

Первый психоаналитик (перебивая алхимика): В любом случае, угрожающий срок. Надеюсь, вы это осознали... Если начистоту, то такие, как вы, нечасто попадают сюда. Закоренелых игроков не слишком много осталось... Чего вам стоит выйти из игры? Зачем вообще вам нужна игра?

Алхимик: Точно не помню, кажется, раньше она была единственной надеждой, она была нужна, чтобы видеть просвет присутствия, но сейчас это уже нечто вроде вредной привычки. Хотя, может быть, стоит подыскать более удачную формулировку.

Второй психоаналитик: Вы самоубийца?

Алхимик: В каком-то смысле, наверное, да. А с чего вы это взяли?

Второй психоаналитик: Своими ответами вы сами копаете себе могилу.

Алхимик: Разве? Я думал, что ответы известны вам заранее.

Второй психоаналитик: Зачем же нам тратить время?

Алхимик: Это ваша профессия, разве не так (*блаженно улыбается*)?

Первый психоаналитик: Ладно, кроме шуток. Какого приговора вы ожидаете?

Алхимик: Сложно сказать. Чего ожидать старику, секунду назад выкопавшему собственную могилу? Он слишком стар, чтобы пытаться рассуждать. К тому же сложно представить себе более изощренную пытку, чем те, которые ему уже пришлось испытать.

Второй психоаналитик (*вытаскивая из кармана маятник гипнотизера*): Вы заблуждаетесь, она существует. Эта пытка – возвращение в утробу.

Ну что же, работа почти завершена. Гроб изготовлен. Он сделан из обломков скорлупы, сцементированных тестом. Никаких экспериментов, при изготовлении использовались только проверенные временем материалы. Сложность конструирования заключалась в том, что строитель все время находился внутри гроба. Это в значительной степени затруднило весь процесс. Однако рабочий всегда отличался завидным терпением. Камень за камнем он строил свой склеп. И только теперь он почувствовал, что может вздохнуть спокойно. Нет, конечно, не стоит преувеличивать. Даже в угоду красивой форме. Это чувство, если и возникло, то не более чем на мгновение. Возвращение в плаценту не имело ничего общего со спокойствием. Разумеется, строителя продолжал бить озноб безумия, не говоря уже о непреходящей чахотке, цинге и дизентерии. Он всё так же кашлял кровью, трясся от холода, его одолевала мания преследования. Всю жизнь он посвятил собиранию осколков. Обломков той скорлупы, которую сам когда-то разбил с таким удовольствием. Рабочий уже не помнил этого чувства, забыл он и разочарование от невозможности прорвать следующие слои полиэтиленового неба. Он собирал осколки без самобичеваний, без сожаления, пожалуй, он вообще не находил никакого смысла в достижении поставленной цели, но с упорством Сизифа продолжал

двигаться по направлению к ней. Теперь же, когда тесто затвердело и заплесневело, новоявленную скорлупу стало куда труднее расколоть, чем прежнюю. Яйцо обволакивал довольно толстый бледно-зеленоватый слой липкой пасты. Тесто схватилось. Строитель позаботился о том, чтобы все последующие перевоплощения не выходили за пределы окаменелой плаценты. Ему хотелось навсегда замкнуться в холодной скорлупе. Он не оставил даже небольшой трещины в своем гробу, ни одного намека на воспоминания. В то же время он не испытывал удовлетворенного чувства выполненного долга – ничего подобного. Он полностью избавился от ощущений. Он всецело был готов к превращению в тот бесформенный сумрак, который представлял собой до рождения. Старик плотно сомкнул веки, съежился, обхватил ноги руками, упер подбородок в колени и принял форму эмбриона. И лишь в последний момент он начал понимать, что к длинному списку его психических расстройств добавился еще один пункт – боязнь закрытого пространства, навязчивое желание разорвать на кровавые лоскуты старую морщинистую кожу и вырваться на свободу. Скорлупу снова захотелось разбить. Возвращение ничего не изменило. Но осознание этого наступило слишком поздно – после завершения строительных работ. К этому времени залатанное тестом яйцо-лифт снова болталось в шахте заброшенного небоскреба. На небе воскресала мерцающая серебром луна. Руки машинально шарили вокруг в поисках спичек. Замкнувшееся кольцо оказалось лимбом круговорота. Всё как прежде. Всё как и прежде. Старик из последних сил сжал голову руками и закричал. Прелюдия бесконечна.

ЭПИЛОГ

Стук печатной машинки.

Отроком скверны в ночь карнавала
Падает желудь в рыхлую землю,
Прокаженный актер плетется к подмосткам,
На зубах скрипит пожухлый сценарий.

Занавес кожи, морщины и складки,
Лишь робкий крик под гримом
Вспыхнет слезою
И снова меркнет.

Кишки составов, суставы вагонов,
Погоны, рельсы, ребра решеток.
Ядовитым нектаром оболочки улыбок,
В городских футлярах обретаем форму.

Ночные бабочки лезут в ноздри
Издыхающего старца-рассвета.
Глянцевый пластик, жуки копошатся.
Осколки Креста клещами
под кожу.

Разламывание накрашенного губной помадой манекена. Вспышки стробоскопа. Фигуры в черных робах. Розовый шум. Сквозь треск еле слышно пробиваются джазовые мелодии. Моргающий желтый глаз. Свист мегафона. Дымящаяся печатная машинка. Крик измазанной грязью головы. Горящая киноплёнка. Рябь телевизионного снега. Занавес.

2003–2007